

A 521
КР.

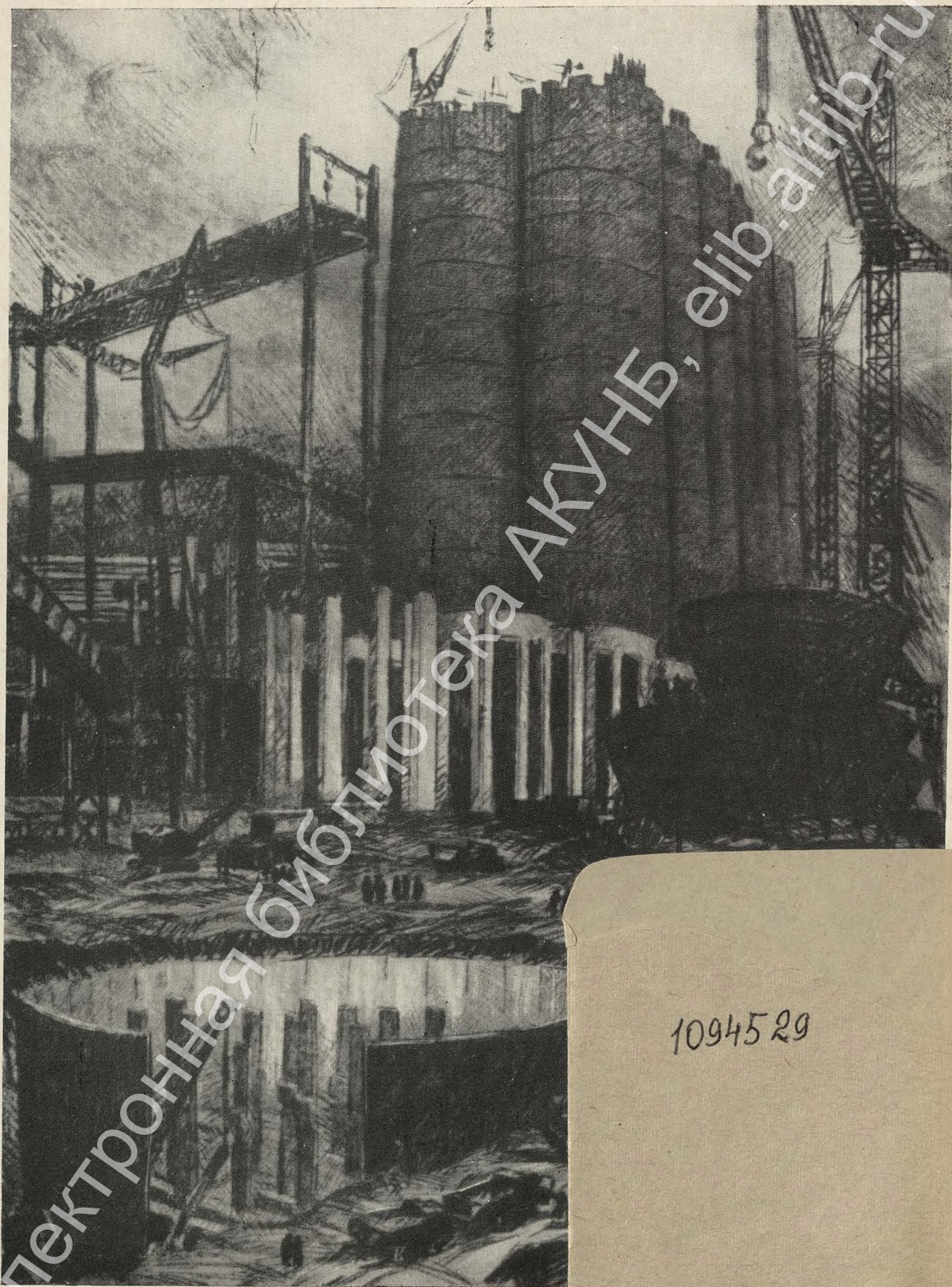
Б 1094529



АЛТАЙ

1980

3



На обложке работы Г. БУРКОВА из серии «Коксохим строится»:
1. «Ребята настоящие...» 2. «Коксовый накопитель». 3. «Ритмы к

1094529

A 521
КР.

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXXII

№ 3 (93) 1980

СОДЕРЖАНИЕ

	ПРОЗА	
Л. ПИЧУГИНА. Ягода на свадьбу. Повесть	3	
В. БРОВКИН. Олекма. Рассказ	40	
И. ЛЕБЕДЕВ. Жернова. Рассказ	43	
Л. ЕРШОВ. Встретились три друга. Рассказ	48	
		СТИХИ МОЛОДЫХ
Е. ПЕТРУШИН, И. МАРЧЕНКО, В. УНЖАКОВ, В. ТОРШИН, В. КОРЖОВ, А. КОРЧУ- ГАНОВ, И. МОРДОВИН, Ю. ФРОЛОВ	53	
		ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА
В. ВОРОЖБИТОВ. Мед Алтая	57	
		КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В. ГОРН. «Это целая жизнь — человек...»	61	
		НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Неизвестные произведения С. Исакова	69	
С. ИСАКОВ. Среди покоя. Рассказ	70	

(см. на обороте)

БАРНАУЛ · АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1980

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В. КАЗАКОВ. Человек и любимое дело 76

САТИРА И ЮМОР

Г. КОФМАН. Велосипед. Телефон. Куб. Обстоятельства. Четыре поры года. «За»
и «против». Пара минут. Рассказы 78

В. НЕХАЕВ. Дурак. Современная сказка. 80

61094529

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,
В. Н. ПОПОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ, О. Н. ШЕВЧУК

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1980 № 3

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректор Н. Тырышкина.

Рукописи не возвращаются.

АГ 00185. Сдано в набор 17. 07. 1980 г. Подписано к печати. 26. 08. 1980 г. Формат
84x108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 9,866. Тираж 7000 экз.
Заказ № 1326. Цена 40 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.
Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полигра-
фии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656056, Барнаул, Ленина, 8. Тел. 3-09-21.

© Алтайское книжное издательство, 1980 г.

Кр



Пичугина Любовь Николаевна родилась в пос. Рабочем Томской области на реке Васюган. Закончила Новосибирский институт геодезии. Работала в экспедициях на Урале и в Якутии. Сейчас — старший инженер треста АлтайТИСИЗ. В альманахе опубликовала повесть «Согра» (1979 г., № 2).

Любовь ПИЧУГИНА

ЯГОДА НА СВАДЬБУ

ПОВЕСТЬ

ПАВЕЛ СКВОРЦОВ

Если сейчас остановиться, то встать больше не хватит сил. Идти, идти, продираешься сквозь дикий лиственничный лес, падать, вставать и снова идти. Темно, сыро и жутко. Но уже далеко дом, далеко мать... Где-то там впереди спасительная Мухтуя, где-то там позади страшный Олекминск. Сутки бы еще продержаться, а потом можно соорудить на берегу Лены шалаш, наловить рыбы, поесть от души, а главное — выспаться. В четырех сутках ходьбы от Олекминска его не поймать. Прошел он уже километров шестьдесят. Старатели же из секты уходили мыть золото не дальше пятидесяти километров.

Родной город Павла — Олекминск. Стоит он на реке Лене. По масштабам Сибири — это средняя деревня, а для малонаселенной Якутии — город. Город протянулся вдоль Лены в два ряда деревянных одноэтажных домов. За сотни лет существования дома почернели, сгорбились, вросли лиственничные бревна в землю. Город обрывался у речушки Алайки, впадающей в Лену. За Алайкой замшелая лиственничная тайга. Сейчас, правда, через речушку перекинули деревянный мост, и постройка пошла дальше: экспедиция и леспромхоз, а в тридцатом году, когда Павел

был мальчишкой, дома секты скопцов начинались прямо у речушки и были самые-самые отдаленные от всех построек. Свое государство, свои законы, свои стада оленей, свое золото, свои огороды, своя тайга, свое кладбище...

Вот опять на пути заваленный наносами распадок. У устья не пройти на ту сторону. Надо в обход. Речушки, впадающие в Лену, прозрачны, течением быстры и на редкость глубоки. Обходить надо далеко. Много времени потеряет Павел, огибая распадок, но потеряет не зря...

В висках стук, словно молотками бьют: от страха? От горя? От пережитого? Не до рассуждений теперь. Добраться бы только до Мухтуи.

Секта скопцов, в основе которой лежало умерщвление плоти, жестокостью порядков, неразумностью, противоестественностью превосходила, пожалуй, все существующие. Павел был не простым членом секты — он был наследник, то есть после смерти старейшины власть, золото секты переходили к нему. Вот поэтому он избежал узаконенного выхолащивания. Наследник должен оставаться мужичиной, а все остальные мальчишки оскоплялись еще младенцами. Нельзя сказать, что покорно принимали такую долю подростки. Павел знал двух мужиков, которые держали мать свою пятнадцать лет в избушке в лесу, прикованную на цепь, за то, что она позволила выхолостить их. Раз в неделю ей приносили хлеб и воду. Цепь была длиной десять метров — этого бедной женщине хватало, чтобы занести дров, набрать снегу.

Наносы кончились, теперь к реке круто спускался голец. Начало светать. Во рту соленый привкус, грудь сдавливает: может, простыл, а может, силы совсем иссякли. Прижигания начались. Поднимаясь по осыпи на обходе, Павел почти полз, цепляясь ободранными руками за камни. А потом пошли перевал за перевалом. Непонятная попала река — такой еще не попадало на пути, уже по руслу она не становилась, сколько Павел ни шел. Или речушка такая длинная, или он медленно идет, или вообще потерял ощущение времени? Забиться бы куда, поспать... Хуже или лучше для него вот этот побег, устроенный матерью? Если бы не она, жил бы спокойно сейчас дома, богатство в руках... Нет, он не осуждал матушку — может, правильно поступил, подчинившись воле этой необыкновенно умной и сильной женщины.

— Павлуша, Павлуша! Проснись, сынок! — Павел сквозь сон чувствует большие руки матери, мягко, но настойчиво тормозившие его. — Павлушенька, проснись, проснись... — В голосе матери слезы. Павел с

трудом открывает глаза. — Павлуша, бежать, бежать нам надо...

— Бежать? — не понимает Павел.

— Потом, потом расскажу, — суется мать, — ты только побыстрей одевайся. Котомочку я тебе и себе собрала...

Мать развязывает черный мешочек и тычет заспанному Павлу почти в лицо:

— Пашенька, это золото. Если со мной что случится — уходи вверх по Лене к Мухтуе. Там найдешь Скворцовых, все расскажешь, а золото это никому не показывай. Это тебе на жизнь. Если нужны будут деньги — немного отсыпь песочку и снеси в скупку, да смотри, не продешеви... Ничего не забыли? — спрашивает она растерянно сама у себя, продляя минуту прощания с родным углом и снова к недоуменному, совершенно сбитому с толку Павлу: — Выходи, сынок. За амбаром под забором дыра, подлезешь там и беги к Алалайке... Там человек с лодкой. Он ждет нас.

У Павла и сейчас в ушах торопливый материнский голос: бежать, бежать... Он собирает силы, подчиняясь властному зову, и бежит, бежит... Нет, это кажется, что он бежит. Он едва волочит подгибающиеся ноги. Еще шаг, еще... Плывут перед глазами камни, плывет хмурое мелколесье, клинышками сбегующее вверх по гольцу, плывет небо, плывут, растекаются мысли...

Теперь он ясно слышит дикий, пронзительный крик матери:

— Павлуша, беги! Беги-и-и! Звери!

Во дворе их дома грохот пустых бочек, лай собак, крики мужиков, вопли матери:

— Сюда больше не приходи-и! Они убьют тебя-я!

Какой-то человек хватает его за руку и тянет к реке. Павел, онемев от происходящего, спотыкаясь, бежит, больно ударяется в лодке головой о гребь, падая на дно, и вот уже слышит он мерное журчание воды за кормой и мчащихся по берегу мужиков секты.

— Кажется, ушли. — Прерывистый от хриплого дыхания голос Акима. Павел теперь только узнал его. — В тумане не найдут.

— Мама, — плачет, придя в себя, Павел. — Ма-ама...

— Маму я найду, — говорит Аким, — а если не найду — перережу по одному всю секту.

— Они ее в лес уведут, — плачет Павел, — на цепь посадят.

— Найду! — твердит Аким. — Тебя спрячу где-нибудь и вернусь. Следить буду, куда они ее поведут. Вот сволочи што делают! Не успела, не успела, — с злобной досадой хрипит Аким, — минутой бы пораньше выйти и — все... Ах ты, господи!

Павлу странно про бога слышать. Секта в бога не верит. Потом до него доходит смысл сказанного Акимом.

— Как, ты меня оставишь одного? Где? Как же я один?.. Нет, нет, я с тобой.

— Тебе нельзя больше в Олекминск. Там тебе гибель.

Проснулся Павел — солнце нещадно жгло. Проснулся и долго сидел на камне, соображая, где он есть. Вспомнил, что речку собирался переходить. Да, да, надо перейти речку и идти, идти... После сна такой голод почувствовал, что затошнило. В котомке от хлеба, положенного матерью, осталась всего краюха. Павел вытащил ее, жадно впился зубами.

Мать Павла, гордая, своенравная женщина, нарушила основной закон секты. Она влюбилась в мирского. Четыре раза ночью уходила к нему на свидания. Уходила незаметно, проползала в дыру под амбаром, а на пятый раз только выползла из дыры — и столкнулась со стариком, хромым и чахоточным. Может, от болезни он злой был, может, от рождения, а может, просто жадный до денег, но мать поняла, что он сейчас же немедля пойдет к главе секты и донесет на нее. Едва встретившись с Акимом, она сразу сказала ему об этом. Аким заставил немедленно бежать. За уход женщин секты к мирским до революции применяли такую казнь: закапывали по голову в землю и каждый, проходя, мог пинать эту голову, плевать на нее. Когда революция запретила такое зверство, секта стала делать хитро: потихоньку уведут беднягу в лес, прикруют на цепь в избушку и пропадай.

Два бревнышка через речушку. Павел осмотрелся — срублены человеком, но давно. Постоял, прислушался, прошел по бревнам на другую сторону. Недалеко от мостка избушка. От времени осела. Несколько лотков полуогнивших. Он пнул ногой один, другой. Старатели жили. Прислонился спиной к лиственнице и стоял некоторое время раздумывая, идти дальше или пожить немного здесь, отдохнуть. Лес был чужой, избушка чужая. Павел много бродил по тайге, знал все заимки секты, мастерски намывал золото — все он мог в свои семнадцать лет. Но эта местность была незнакомой и таила в себе непредвиденное. Первые дни побега на него постоянно наваливался страх, иногда совершенно беспричинный. Он тогда либо сбивался с ориентира, забираясь куда-нибудь в густой ерник по распадку, либо карабкался в расщелину останца и с верхотуры осматривал, что могло его насторожить. Долго в неопределенности простоял он у жилья, а когда, догорая, солнце краешком подмигнуло ему на прощание и скатилось за деревья, Павел зашел в избушку. Ничего но-

вого он не нашел. Все как обычно у старателей. Нары, бочка железная вместо печки, стол, истыканный ножами, земляной пол, оконце из слюды... Он посидел с минуту на нарах, передохнул, все еще прислушиваясь, и решил, что здесь безопасно. Подложил под голову телогрейку и будто провалился, глубоко и надолго заснув.

Без снов и страха проспал Павел всю ночь и проснулся только к полудню. Он хорошо отдохнул, силы вернулись, погоны не было. Теперь надо было продумать, как быть дальше. Прежде всего он решил намыть золота. То, что дала ему мать для жизни — мало; уверенности не будет без денег в кармане. И Павел принялся за работу. Днем мыл золото, вечером лучил рыбу. За десять дней мешочек хорошо пополнился золотым песком и даже отдельные камешки встречались. Утром одиннадцатого дня, собираясь уходить, он подбросил на руке тяжелый узелок и ощутил вдруг в себе уверенность — не пропадет теперь.

В маленькой деревеньке Артонахор, далеко не доходя до Мухтуи, он сел на пассажирский пароход и, минуя Мухтую, добрался до Усть-Кута. Потом носила его судьба: работал матросом на Лене, на Енисее, а четыре года спустя плавал по Оби матросом на буксире.

Будто бы устроился Павел в жизни. Ликбез закончил, с людьми хорошо сживался, работать не ленился, хвалили, в пример ставили. Но сидел в душе крик матери, заставляя иногда не спать ночами. Этот крик звал его обратно, посмотреть, узнать, что стало с его матушкой. Павел мучился, что нельзя ему поехать домой, руки у секты длинные: едва узнают, что он на Лене — достанут его, прижмут и не пикнет.

Как-то к концу лета Павел заболел. Температура поднялась такая, что потерял сознание. Врача на буксире не было, и его решили оставить в первой деревне. Когда сознание вернулось, Павел с удивлением увидел наклонившуюся над ним миловидную девушку. Он похлопал глазами, думая, что это сон, но девушка тихо улыбнулась, перекрестилась даже: — Ой, господи, слава тебе — отошел!

Круглолицая, с полными щеками, девушка мелькнула белым халатом и выбежала из палаты. Павел хотел спросить, где он, но по своей нерасторопности, а может, слабости не успел. Ему страшно захотелось, чтобы она скорее вернулась назад, и она вернулась с кружкой теплого молока.

Павел вообще мало разговаривал, а с девушками так и вовсе не знал, как себя вести. Девушка, видно, тоже слов не находила, стояла, прислонившись к косяку, теребила книжицу и была заметно взволнована.

— Как зовут тебя? — спросил он.

— Клава, — ответила она поспешно, будто давно ждала этого вопроса. — А тебя?

— Павел.

Он даже сдерживал дыхание, чтобы не спугнуть Клаву, чтобы стояла она так и стояла, а он бы смотрел на нее и смотрел. Еще ему хотелось, чтобы она молчала. Но Клава от природы была молчунья, и Павел скоро это понял. Он только одного понять не мог: что явилось причиной ее смущения? Она не только плохо управляла своими движениями — несколько раз книжица, что она держала в руках, падала на пол, — но и была слишком бледна, тревожно-сосредоточенной, а серые глаза ее затаились в напряженном ожидании. Может, ее сковывает пристальный взгляд Павла? Павел приподнял голову от подушки, и Клава тотчас бросилась к нему:

— Поправить? Тебе неловко лежать?

— Хорошо мне, — Павел говорил немного растягивая слова и очень тихо. — Ты садись рядом.

— Я шас, шас, — закивала головой Клава и придвинула к кровати табуретку.

Полнейшей, смирной Клаве торопливость не подходила, ее красили плавные, уверенные движения, такая работа рук, когда не сомневаешься, что любое дело, начатое ими, будет сделано правильно и красиво. Пухлые руки Клавы все теребили книжицу, а Павел в раздумчивости смотрел на них, и ему хотелось взять их в свои ладони, приласкать, чтобы они успокоились, чтобы Клава не волновалась так сильно. Раньше Павел никогда не задумывался над вопросом о своей внешности, но тут он уже несколько раз провел ладонью по лицу, и чем дольше Клава сидела возле него, тем неуютнее себя чувствовал. Наконец не выдержал, слегка притронулся к руке Клавы:

— У меня в сундучке бритва есть. Принеси.

Клава вспыхнула, рывком встала с табуретки:

— Я сюда сундук принесу, а ты сам смотри.

Растерянность и смущение Клавы не давали Павлу покоя. Всю ночь сон его не брал, заснул только к утру. Проспал совсем мало и, еще не отойдя ото сна, пришел в такое прекраснейшее настроение, что ему захотелось петь. Он напряжился в ожидании Клавы и лежал, словно загипнотизированный, улавливая малейшие шорохи в пустой деревенской больничке. Он лежал, открыв глаза, и живо воображал, как откроется дверь палаты, как Клава, смущаясь, приблизится к нему, сядет у постели.

На следующую ночь Клава осталась у него. Павел задохнулся и ослеп от Клавиной теплоты и нежности, от бессознательной минуты сближения. Только он опять не мог понять Клавы: она так тяжело, по-бабьи рыдала у него на груди, что у него непроизвольно слезой застилало глаза, и он, сколько ни вдумывался, никак не мог понять ее слез. Может, она думает, что он оставит ее?

— Клава, — сказал он медленным своим говорком, — не надо плакать. Мы же поженились с тобой.

— Ага, — кивнула разлохмаченной головой Клава и заревела еще пуще.

— Ты не думай, — тихо говорил Павел, — деньги у меня есть. Построимся и будем жить.

Перебирая волосы на голове Клавы, Павел смотрел в темный потолок, вспоминал несчастную долю матери, в ушах стоял ее крик: «Павлуша, беги!», и он тогда крепче прижимал к себе Клаву и шептал:

— Все для тебя сделаю. Словом не оскорблю, пальцем не трону.

НАЗАР ЕВДОКИМОВ

1

Третий день тугими клубками ломались из-за леса тучи. Третий день бешеный ветер держал в избушке на Полуяновой протоке рыбаков. Третий день косой ливень бил в дребезжащие подслеповатые оконца. На той стороне Оби, в двадцати километрах, — село Топольное. На этой стороне поселков нет. Бригада рыбаков Сергея Захарова из восьми мужиков и поварихи Зинаиды Боковой коротала ненастье на совершенно безлюдном, сильно заиленном берегу протоки. День проходил в починке невода и сетей, вечер — за чтением Робинзона Крузо. Читал чувственно и с выражением Назар Евдокимов, окончивший в этом году ликбез.

С самого приезда на протоку бригады, а это было месяц назад, повадилась вечерами приходить в гости... жаба. Жаба чудовищных размеров. Она усаживалась на пороге избушки, выкатывала на лоб глаза и сидела тихо, слушая приключения Робинзона. В первый вечер Назар было собрался запустить в нее броднем, но мужики не дали: что она собирается делать? Да хоть и не ахти какое, а развлечение. А она ничего не делала. Она просто слушала. Вначале про Крузо, а когда чтение заканчивалось и начинали соревноваться в остроловии, она, переводя глаза с одного на другого говорившего, тоже слушала. Когда тушили коптишку и все устраивались спать, она уходила. К жабе привыкли и вечерами ее

всегда ждали. Имя гостя получила Барыня. Это вечерами, а ночами...

Не хотела Марфа Бокова пускать Зинку варить рыбакам. Чуяло ее материнское сердце... Но председатель созданного в прошлом году колхоза велел ей дурочку не пороть. Марфа не успокоилась, но с председателем сцепиться не посмела, в чем по своему характеру с трудом себя пересилила.

— Тетка Марфа, — кричал, пересиливая стук нефтянки, Назар, — я послежу за Зинкой! Положись на меня как на бога!

— Чтоб ты пропал, прости господи! Баламут чертов! — И понесла, и понесла Марфа, подстегнутая его многообещающей улыбкой.

Однако с первого дня взял на свои плечи бремя заботы о Зинке Демьян Тимченко. Опекунство дошло до того, что однажды дождавшись, когда уснут рыбаки, Демка стриганул к ней под одеяло. Назар втайне ждал этого. Демка не пропускал того, что само плывет в руки. Он хотел было тут же уличить этого шустряка, но сдержался — решил выбрать момент более подходящий. Зинка вначале попишала, но волосяным писком, чтобы не проснулись рыбаки, а потом притихла — наверно, с Демкой было теплее.

К этому времени Демка был раз и навсегда прозван Робин, а Зинка — Крузо. Назар не спал. Сосредоточенно раздумывая, он ждал дальнейшего. Под одеялом на Зинкиных нарах горячо шептались. А раздумывал Назар вот над чем: конечно, стоило проучить эту соплюху, да проучить хорошенько, чтобы впредь научилась видеть обман, а с другой стороны — девку было жалко. Ясно, как божий день, что Демка не женится на ней, а кому она будет нужна в деревне такая: ни девка, ни баба, да еще и сураза, может, припрет. Назар по своему характеру был парнем разбитным, веселым, и хотя многие его считали трепачем и баламутом, верности в любви и в дружбе он был необыкновенной. Может, на него подействовал уход матери к другому, может, в крови такое заложено было, но он нутром не переносил всякого рода измен. Ночь Назар не спал, однако сколько ни шептались у Зинки под одеялом — ничего страшного не произошло.

Назар знал, что этим дело не кончится. Раз уж пригрел Демка возле Зинаиды местечко, так это не зря. Драться с ним Назар не хотел, а вот проучить решил как надо.

Потихоньку от всех он поймал жабу, а ловить ее не надо было — сама в руки просилась, и спрятал в мешке под нарами. Робин снова в темноте пробрался к своей Крузе. Они долго шептались, целовались, а потом уснули. Назар сполз с соломы, нашупал в

темноте мешок и отпустил: ним лод одеяло жабу.

— Это вам Пятница, — чтобы не рассмеяться во весь голос, Назар пробирался на место, зажав рот рукой.

Жаба, почувя тепло, поползла повыше и пригрелась у Зинкиной груди. Нечеловеческий вопль поднял на ноги всех. Только Назар делал вид, что спит. Демка, будто его выбросила взрывная волна, мелькнув бязевыми доспехами, в секунду был на своем месте.

Зажгли коптиюшку. На пороге сидела Барыня и обиженно трясла зобом. Мало-помалу до рыбаков дошло происшедшее. Зинка орала, сжав на пышной груди кулаки, а из бессмысленно округлившись глаз двумя прозрачными струями текли слезы. Назара даже зазнобило: не спятила ли она с перепугу? У Демки проснувшись заподавая совесть, и он полез к Назару драться. Назар придавил его к стене прямо на нарах:

— Ты ж ее бросишь, так-перетак!

Демка, выворачиваясь, матерился еще пуще Назара.

— Еще и лаешься! — совсем взбесился Назар и, хотя не особенно был рослый и сильный, изловчившись, шибанул Демьяна о стену головой. Пока Демьян, ахнув, держался за ушибленную голову, он, не одеваясь, выбежал на улицу. Демка за ним.

Минуту спустя избушка дрожала от хохота мужиков и от рева Зинки. Назар с Демкой, сцепившись железной хваткой, клубком катались у порога. На реке, сбившись с фарватера, прочно сидел на мели буксир и жалобными гудками зывал о помощи. Кое-как равняли драчунов, приказали замолчать Зинке. Небо просветлело, дождь давно кончился, но ветер был еще сильный, и в берег било крупной волной.

Сергей Захаров, неуклюжий фигурой и твердолобый донельзя бригадир, минут пять стоял над обрывом Оби и смотрел на слабый силуэт буксира. Потом засунул руки в широкие накладные карманы брезентовых штанов, набычился, молчком пошел в избушку и стал натягивать бродни.

— Собирайтесь, — сказал он хмуро, — поедем буксир спасать.

— Так-перетак! — Выругался Демка, сплевывая кровью. — Ну и ночка!

Нефтянка запыхтела, чихая едким от науги дымом. Волной швыряло суденышко, что обласок какой. Катер долго корячился среди тугих гребней воды, продираясь к буксиру. Потом долго не могли привязать к корме чалку. С час, по-человечески напрягаясь и всхлиывая, пыталась нефтянка стянуть попавшего в беду собрата на фарватер. Дело грозило за-

тянуться надолго. С буксира что-то кричали, призывно махая руками и белым платком. Подъехали. Оказывается, у них там парень заболел: просили увезти в деревню. Твердолобый Захар уперся:

— Буксир стянем — увезем.

— Парень без памяти.

— Еще час пролежит — не помрет поди, — злится Захар, что по его не выходит.

Назар вызвался:

— Сбросьте с буксира шлюпку. По течению я за час до Топольного доберусь. Укутайте только его хорошо. — Жалко ему стало парня. Может, в самом деле при смерти.

Волны стали меньше. Назар налег на весла, лодка понеслась в Топольное. Но вдруг Назар будто что-то вспомнил, правой гребью дакнул воду назад. Лодка резко развернулась, и он повел ее к берегу.

Зареванную Зинку он нашел все на тех же нарах, под одеялом.

— Вот што, — распорядился Назар, — чтобы в один миг была готова! Я жду! — он сел на нары и закурил.

Трясущимися руками оделась Зинка, сбрала узелок. Узелок Назар у нее забрал и приказал шагать к реке.

Так в эту злополучную ночь сберег Назар честь непутевой Зинки и доставил в местную больничку Павла Скворцова.

2

Через три дня бригада Захарова выехала в Топольное на недельный отпуск. К этому времени погода установилась — ловить бы да ловить рыбу, но пора было отдохнуть, помыться в бане, справиться дела по хозяйству, повидать родных. Больше всех радовался предстоящему отдыху Назар. Назар жил один в избушке на окраине села. Отец у него два года назад умер, а мать с ними не жила уже давно. Избушка от старости осела правым углом у крыльца. Назар вначале хотел подвести новый венец, но этой осенью в дом к нему переедет Клава — тихая стеснительная девушка, при воспоминании о которой весь месяц рыбалки у Назара в груди огнем жгло. Он ее безгранично любил. Целый год уговаривал выйти за него замуж, а она, краснея до слез, отмалчивалась, а буквально перед отъездом его на рыбалку вдруг согласилась. Назар в тот же день выехал в лес заготавливать бревна на новый дом. Венца на три он заготовил и успел привезти. В последний вечер она пришла к нему попрощаться. Они долго сидели на крыльце, смотрели на закат солнца, а потом ушли в избушку. Утром Клава встала рано и, как заправская хозяйка, при-

чялась готовить завтрак и прибираться в избе. Назар лежал, делал вид будто спит, но в щелочки глаз наблюдал за Клавой, млея от умиления. Она выскоблила стол, лавки, даже ручки у ухватов. Такой порядок Назару был непривычен, и он привыкал к мысли, что теперь всегда будет так.

Назар костерил бригадира за то, что тот заставил вычерпать воду из неводника. Такую работу можно было сделать и завтра утром. Воды в неводнике было чуть ли не по колено — неводом натащили, да и волной накидало. Ему сейчас было не до неводника, не до невода, не до Демки, с которым на пару черпали воду. В его сердце была Клава. Демка, с разбитыми губами, был охвачен мстительной злобой, и в нем до сих пор кипело страстное желание сцепиться с Назаром. Сурово нахмурив брови, он упрямо молчал, яростно работая черпаком. Надо сказать, что Назар тоже не отличался короткой памятью на личные обиды, но случай с Демкой — дело иного рода. Здесь вроде бы он сам влез не в свое дело и после той петушиной вспышки к Демке никакой ненависти не чувствовал, прошла и злоба, осталось только легкое презрение. Тем более дело так хорошо кончилось. Не разгибаясь, парни молча, с остервенением черпали воду.

— Не пыхти в спину! — прошипел Демка работающему за его спиной Назару.

— Пошел ты, — буркнул, не разгибаясь, Назар, добавив беззлобно: — Отойди, если мешаю. — Ему совсем не хотелось сейчас ссориться. Ему хотелось одного: вычерпать скорее эту проклятую воду и пойти к Клаве.

Снова упрямо замолчали, работая черпаками. Однако Назар все время чувствовал холодную тяжелую злобу Демьяна и держался настороже: здесь они были одни, а от Тимченко можно всего ждать. Скоро Назар стал замечать, что вода из Демкиного черпака порядком его задевает. Он отошел подальше в корму. Вроде незаметно передвинулся к корме и Демьян.

— Пацкуда! — процедил себе под нос Назар и снова отодвинулся, вскользь прикинув, сколько по воде от кормы до берега. Дно здесь было топкое.

Продвинулся и Демьян, явно прижимая Назара к корме. Назар не выдержал:

— Места мало?

Демка с полным черпаком застыл полусогнувшись, презрительно скривился:

— Соли потише, праведник!

Пока Назар стоял в нерешительности: столкнись или нет этого наглеца за борт, Демка плеснул слизистой, с чешуей, водой ему в лицо. Назар отреагировал моментально:

лнул ногой, куда пришлось. Демьян скорчился от боли и взвыл. Не теряя ни секунды, Назар вышвырнул его за борт. Перешагнув через перекладину и на ходу крикнул:

— Дочерпаешь один!

— Ну, подожди! — булькался в воде Демьян, выползая на берег. — А Зинку, — крикнул он на весь голос, — назло тебе решу!

— Пацкуда ты! — крутнул головой Назар, засунул в карманы руки и быстро пошел не оборачиваясь.

Дома он сел на ступеньки крыльца, устало вытянул ноги и закурил. Руки дрожали: натрудил, да и взвинтил его Демьян. К Демьяну не только у Назара была неприязнь. Был он парнем не то чтобы красивым и видным, но чем-то магически действовал на баб. Ни одна поплакала, оставшись после его внимания с животом и здесь, в Топольном, и в соседней Еловке.

Назар докурил самокрутку, немного полегчало, расслабило. Он стянул бродни и, наступив на скобленные доски теплого еще крыльца, зажмурился от враз захлестнувшего его волнения. Что-то мягкое и нестерпимо обжигающее прокатилось по всему телу. Будто выскоблив эти ступеньки, Клава оставила на досках тепло своих пухленьких рук, кровинку от своего доброго и любящего сердца. Клава, бог мой, сто лет тебя не видел. Три дня назад, когда привез матросика, ее в больнице не было, разыскивать время не позволило, а теперь-то никакой преграды нет.

К черту все условности! К черту всякие там свадьбы! Сегодня же принесет он, пройдя гордо через все село, ее сюда — и все! Хватит, Клавачка, отгулялась — пора и честь знать! Посмеивался Назар, яростно натираясь мочалкой и смывая пену из бочки теплой дождевой водой. Неделя у него свободная — неплохое начало для медового месяца. Да и бревна для дома повозить надо...

Ласковым теплом давно закатившегося солнца все еще согревало землю. Давно уснуло все вокруг, только тревожный шорох листьев от легкого ветерка нарушал иногда тишину села, да редкий ленивый лай собак раздавался из подворотен, когда Назар проходил мимо. Назар шел, волнуясь и чувствуя неумную душевную дрожь. Такие минуты в жизни человека не каждый день, и Назар, посмеиваясь в душе над своим волнением и робостью, до жуткой отчетливости вспоминал лицо милой Клавоны, пухленькие ее суставчики, медленную улыбочку родных губок.

У калитки Назар докурил самокрутку, отшвырнул окурочек и пошел к дверям.

— На-за-ар! — протянула Анастасия, мать Клавы, таким же медленным и медовым го-

лоском: — Клава на работе еще. Запозднилась что-то.

К больнице Назар шел быстро. Нетерпение увидеть Клаву распалило нутро еще сильнее. Едва завиднелась больничка, он побежал, забыв про усталость и про голод, — с утра во рту ничего не было — торопился, весь день будто в аду кипел, переделывая бесконечные дела, ожидая минуту вот этого счастья.

Грудь ходуном ходила от тяжелого дыхания, когда он вбежал на высокое крыльцо. Перевел дух, сглотнул липкую слюну, тихонько постучал в досчатую крашеную дверь, прислушался... За дверью тишина. Назар немного отдышался, постучал еще. Потом некоторое время стоял, недоумевая, потому что за дверью не услышал даже легкого шороха. В нерешительности потоптался на крыльце и решил, что Клава, наверно, к подруге какой зашла — только к кому? А в душе почему-то помутнело, заскребло нехорошо. Он заложил в карманы штанов руки, приподнял плечи, словно ему холодно стало, и прошелся вокруг больнички, поглядывая на темные занавешанные окна. Он чувствовал всем своим существом, что Клава там. В единственной палате, где поместили матросика, шторы были задвинуты. Назар приподнялся на цыпочки, заглянул в щель между штор. В тот же момент колыхнулась занавеска, и испуганные круглые глаза Клавы мелькнули на мгновение и исчезли, будто ничего и не было. Назар остолбенело откинулся от окна и некоторое время стоял, не сводя с него неморгающих глаз. Лицо у него вытянулось и побледнело.

— Клава, — позвал он, внутренне съезжившись. Назар до конца еще не осознал случившегося, подумал, что она пойдет сейчас открыть ему, и отправился к крыльцу. Но ему не открывали. — Клава, — позвал он, — открой, открой, Клава, Клава!

Назар уже сильно тарабанил в дверь, но за ней никаких признаков присутствия людей не было. Да что же это такое?! Он снова побежал к окну, влез на завалинку, чтобы поверх шторы заглянуть. Штора кончалась высоко — не дотянулся.

— Клава, — тарабанил он по стеклу, — Клава!

Ни звука.

— Клава! — вдруг закричал он сквозь зубы, барабанив в раму. — Я же видел тебя! Открой! Матрос, слышь, матрос, — спохватился он, — открой! Матрос! Так-перетак! — взвыл Назар и снова кинулся к двери. — Клавка, Клавка, — рвал он ручку. Ручка отлетела. Забухал в дверь сапогом, ручку запустил с силой в железную бочку, что стояла под желобом крыши.

С побелевшими от гнева глазами метался Назар от двери к окну. Больничка, поблескивая темнотой окон, молчала.

— Откройте! — Назар не узнавал своего голоса, смахивающего на рычание тигра. — Откройте! Добром прошу!.. Клавка, хуже будет! — А до сознания наконец дошло: его Клава — мечта, любовь и невеста — спуталась с матросом. Такого унижения Назар пережить не мог.

— Матрос, слышь, матрос! — Клавдию он оставил в покое — она перестала для него существовать. Назар решил выяснять с матросиком, так ловко выхватившим у него из рук невесту, отношения. Он не знал, как это будет выглядеть. Может, сцепятся с ним и будут биться до тех пор, пока один уж никогда не поднимется, может, мирно поговорят — как угодно, только не молчать.

— Матрос! — Назар прислушался. — Выйди! — снова прислушался. У соседнего дома, привязанная на цепь, тоскливо выла собака. Захотелось выть и Назару. — Матрос! Так-перетак! Што притаился там, как пакостливая кошка?! Умел напакостить — умей отвечать!

Он любил Клаву, любил без оглядки. Оказывается, надо было оглянуться — счастье-то не для него предназначалось. Теперь мещись у затаившейся в темноте больнички, реви, вой от тоски и злобы.

— Не выйдешь, — пригрозил Назар, — больницу спалю! Мне терять нечего. Ты, пацкуда, у меня жизнь забрал!

Павел не выходил, а Назар представил, как они сейчас лежат в больничной постели и как Клава, уцепившись пухленькими руками за матроса, умоляет не ходить к Назару, не открывать дверь — представил так явственно, что жить не захотелось. В отчаянии Назар решил забраться на тополь, что рос под окном палаты, и повеситься.

— Последний раз спрашиваю: выйдешь, нет?

Долго стоял, скрипя зубами, подытожил: — Значит, нет?! Тогда пеняйте на себя!

Он пошарил под крыльцом в больнице, отыскивая веревку, но веревки не было. Метнулся в соседний двор. Взревел злобным лаем кобель, посаженный на цепь. Назар пнул его сапогом. Веревки на глаза не попадалось, зато под навесом у пригона лежала копешка прошлогодней соломы. Он взял сколько смог. Кобель заливался во все горло, но Назар уже был у больнички. Солому он одинаковыми кучками разложил под окнами на завалинке и на крыльце. Немного замешкался, отыскивая под крыльцом в старых жестянках керосин, поэтому и застал его за этим занятием

проснувшийся на лай кобеля бригадир Захаров. Больницу не дали спалить добрые люди, а потому до суда дело не дошло. Чем больше упрасивали Назара опомниться, одуматься — да черт с ней, с Клавкой, вон сколько на селе девок получше ее, — на него уговоры не действовали. Сверкая белками глаз, поклялся:

— Жить я им не дам! С сего дня и до конца своей жизни будут в страхе передо мной. Будут так же дрожать и бояться, как сейчас бояться выйти. Приплод будет — поймаю, за ноженки в стороны раздерну! Не знала ты, Клавка-стерва, настоящего-то Назара! Теперь узнаешь!

В тот вечер мужикам пришлось связывать Назара, чтобы до утра очухался и за ночь не натворил дел.

А Павел из больнички перешел к Клаве.

3

Всю неделю отдыха бесился и пил Назар до беспамятства, ночами ходил к Клаве под окна: просил, кричал, требовал, чтобы вышел к нему Павел, но Павел не выходил. Назар тогда в темноте, когда вез, не разглядел его, а сейчас мучился: чем матрос завлек Клавку? На Назара жалко было смотреть. В редкие трезвые минуты он ходил нахохлившись, а в тоскующем взгляде его была горькая тяжесть. Бабы наперебой к нему с сочувствием: это ж надо, какая любовь! Только почему так несправедливо досталась она именно Клавке?

— Ты, Назар, — учили его уму-разуму соседки, которых в пору самих учить, жизнь у них с пьяницами-мужьями не слаще Назаровой, но все ж живут под одной крышей, а при случае есть с кем словом перекинуться или синяков подзаработать; — ты, Назар, сейчас пока не шуми, не кричи и не лезь к ним. Мы подоле тебя пожил и скажем, что вот выскочит она за него замуж, месяц, можа, и поживут добром, а потом, попомни нас, на коленях через поселок к тебе приползет. Тогда твоя высота, твоя воля...

Уронив на стол голову, слушал Назар такие речи, ровным счетом ничего не понимая.

Неделя пролетела в полузабытьи от запоя. Утром трясущимися с похмелья руками укладывал Назар на пару с Захаровым в неводник сети и невод. Мужики не лезли к нему с сочувствием. На редкое к себе обращение отвечал невпопад. Трудно было отыскать что-то общее между тем Назаром, что дрался с Демкой из-за Зинки, с теперешним, пережившим такой позор.

Перед самой свадьбой Анастасия, мать Клавдии, гребла сено с бабами на пойме. Рыбаки приехали сюда на протоку неводить. По

утру роса была, и бабы пошли насобирать черемухи, пока пообветреет сено. Назар как раз ташил с мужиками невод. Заприметил баб, и запала будто невзначай мысль: взять да подсыпать Анастасии в туесок крушины. Пусть накормит молодоженов. Назар даже скривился в улыбку, представив, как Клавка с матросиком корчатся в судорогах. До обеда таскали невод, и мысль эта нет-нет да и забредет в голову, а после обеда, когда рыбаки растянулись подремать в тенечке, она уже неотступно преследовала его. Ему стало душно, гнал от себя эту мысль, а в голове все свербило и свербило: «Он же, пацкуда, мне жизнь под корень подрубил — што ж его жалеть? Лучше расстрел, чем так мучиться». Пока дремали рыбаки, он набрал полкартуза крушины, искал в тени под кустами узелки. Анастасин узел узнал по старенькому платку Клавы. Холодно в груди было у Назара, будто та жаба сидела там и обидчиво дергала зобом. Куженьку Назар потряс, чтобы смешалась ягода.

Мужики заприметили необыкновенную бледность Назара:

— Не заболел ли? Лица на тебе нет.

— Живот скрутило.

Рыбаки посмеялись, дескать сбегай еще раз в черемушник. А у него и впрямь живот скрутило — такой страх вдруг навалился. До вечера извелся Назар, до того извелся, что и радости от того, что матросик с Клавкой отправятся на тот свет, не стало. Он не струсил, нет, но к вечеру, как бабам домой идти, словно клещами внутри щипать стало, свет померк.

— Господи, — молится про себя Назар, — как же это я?! Надо бежать, пока не поздно, высыпать ту ягоду.

Тут бабы к узелкам пошли. «Все, конец. В голову вдруг шибануло: ягоду-то она на свадьбу рвала. Клавдия с матросом ее могут и не попробовать! Пирого-то гости съедят! Ой дурак, ой дурак! Что делать?» Бабы к той поре надели узелки на грабли и пошли домой. Назар, словно загипнотизированный, им вслед смотрел до тех пор, пока за кустами они не скрылись. Тут только опомнился, рванулся за ними. Налетел сзади, схватил у Анастасии узелок, к Оби с ним кинулся. От неожиданности Анастасия вначале опешила, а потом, заорав благим матом, бросилась за ним. Всю ягоду Назар высыпал в реку, куженьку водой сполоснул, протянул подбежавшей Анастасии. Анастасия набросилась на него, в космы вцепилась, кулаками молотит куда придется. А Назару ее побои будто в радость. Будто облегчение какое.

— Бей, бей, тетка Анастасья, меня, бей

дурака! — плачет Назар. — Бей сильнее меня, паразита.

— За што ж я мучус-я-я? — В голос воет Анастасия, ей по-человечески жалко Назара, да и любила она его, за сына принимала. — Што ж вы, паразиты, мне жись портитя-я?

Она отбила о Назара руки — грабли удерживать не могла. Села на траву, воткнулась в передник и голосила, голосила...

У Назара будто камень с души упал. Обесшленный, он отправился к неводнику. После этого на убийство больше не замахивался.

Деревню лихорадило: случай с Назаром и Клавдией был выдающийся. Раньше вводили даже жен, но так еще не было. Забурлила сплетнями деревня, насторожилась в ожидании развязки. Большинство, конечно, были на стороне Назара, но находились такие, которые, трезво рассуждая, говорили:

— Невеста — это еще не жена. Прав он на нее никаких не имеет. Если что натворит — посадят. Ее дело кого выбирать, раз уж выпала девке такая честь — покопаться в женихах.

Все попытки вызвать Павла на разговор завершались неудачей. Невидимая стена стояла на пути Назара, разбить которую он никак не мог. Хитрит Павел или трусит? Прямолинейный характером, Назар не понимал хитрости, а трусов нутром не переносил, за людей, можно сказать, не считал.

Свадьба была скромной. С утра молодожены пошли в сельсовет, расписались, рассказал Павел свою биографию: кто да откуда, с тем и ушли домой. Назар в это время на рыбалке был. Вечером домой вернулся — тут по деревне разговор крутится: кучками стоят бабы то у колодца, то у магазина, то просто на улице или во дворе и оживленно обсуждают событие. Назар идет, рыбину на ужин несет, мимо пройдет — бабы в один голос:

— Здравствуй, здравствуй, Назар! — и примолкнут, пока не пройдет.

У Назара в глазах удивление: необычное внимание к нему сегодня. Бабы прямо шеи вытягивают, смотрят ему вслед, пока он за поворотом не скроется. В ограду к себе уж стал заходить, когда вездесущая ребятня с криком: «Клавка поженилась! Клавка поженилась!» промчалась мимо.

Швырнул Назар рыбину тут же, у калитки, круто развернулся и пошел к Клавдии: свадьба — дверь наверняка не на крючке. К Клавдии он шел спокойно. «Ничего я им делать не буду, — думал Назар, — просто посмотрю ей в глаза и уйду».

Твердолобый Захаров перехватил его дорогой. Будто нарочно у своих ворот ожидал.

— Зайди, — сказал коротко, кивнув на

дверь избы, и пошел впереди медленной гусиной походкой. «Зайди, зайди, зайди, зайди...» — запульсировало в висках. Ему было все равно куда идти. Может, он и не к Клавдии шел, а именно к Сергею, а может, прогуливался просто перед сном.

Жена Сергея Захарова, хохотушка, верткая, как юла, Катя кинулась накрывать на стол, едва Назар показался в дверях. Сегодня она почему-то была еще более подвижной, смеялась над каждым сказанным словом, смеялась над своим рассказом, смеялась, смеялась... Назару было больно смотреть на раскрытый в смехе ее рот, Сергею было тоже неловко. Кате хотелось создать для Назара домашнюю непринужденную обстановку, отвлечь от тяжелых мыслей, немножко облегчить его горе, а получалось как-то нехорошо.

Назар сидел за столом напротив Сергея, опустив к столу голову, чувствовал себя маленьким ребенком, таким же, как белоголовый Егорка, что крутился у отца на руках, как та девочка, что пришла пожаловаться отцу на старшую сестру, которая не пускала ее на грядку с горохом.

В тот вечер и выпил-то Назар немного, а хмель разобрал так, что Сергею пришлось домой его сопровождать. Потом, говорил Сергей, Назар бухнулся на постель, едва в дом к себе зашел, что весь вечер, пока Назар гостил у него, он и слова угрозы никому не произнес, а подпив, все твердил про жабу Барыню, которая поселилась у него в груди, что у него заместо сердца теперь — жаба.

Появление пьяного Назара на свадьбе вызвало сильное замешательство. Гостей, правда, было мало, но кое-кто из них не хотел, чтобы Назар видел его здесь. Все, кто присутствовал на свадьбе, отныне становились друзьями Павла и Клавдии, а для Назара — недругами. Покачиваясь, стоял Назар, зацепившись руками за косяки, и, не моргая, смотрел в беспокойные и страдающие глаза Клавды. Расплылись перед ним нечетким пятном гости, не видел он и Павла, мирно беседующего с каким-то Клавиным родственником, потом и ее лицо стало расплываться, только глаза, отягощенные непомерной ношей, что по доброй воле взвалила на себя, смотрели на него и смотрели...

— Клава, — Назар кинулся к ней, упал на колени, руки пухленькие схватил, к лицу своему прижал и замер, задохнувшись от их знакомого тепла. — Клава, Клава, Клава, — твердил он. — Уйдем ко мне. Я прошу, все прошу, только уйдем.

Назар не слышал, как загудело застолье, как задвигали лавками гости, как уговаривать стали, и только когда чья-то грубая сила рва-

нула его от Клавы, он начал вырываться, кричать, перевернул стол, ругался на чем свет стоит... Мужики схватились его связывать. Кто-то вызвался съездить за милиционером, но вмешались сердобольные бабы: такая необыкновенная любовь встречается не каждый день, и уговорили мужиков не сдавать Назара в милицию. Связанного Назара отнесли домой и уложили в постель.

Утром Назар не пришел к неводнику. Сергей пошел узнать, что с ним, потому что слух уже прошел по селу, что Назар дебоширил на свадьбе. Может, до сих пор связанный лежит. Назар был не только связан, но и так зверски избит, что Сергей отшатнулся, ошарашенный увиденным. Постель была буквально в сгустках крови, впереди зубы выбиты, ребра переломаны. В беспомоществе Назар стонал. Кто ж его так уделал? Неужели Павел?

Завели нефтянку, повезли Назара в районную больницу. Приехал милиционер расследовать дело, но дело было путаным — никто ничего не знал.

4

Из больницы Назар не вернулся в Топольное. Говорили, завербовался куда-то. Окна и дверь избитой, сиротливо притихшей на краю села, Сергей заколотил крест-накрест.

Павел облюбывал себе под дом на другом конце села неброское местечко за окошком высоких берез. Нанял из Еловки двух мужиков, да сам — начали возить бревна. Отстроились быстро, добротнo на удивление и зависть сельчанам. Обсадил Павел усадьбу тремя рядами белоствольных березок, тесовый мосток в деревенскую улочку вывел.

Молчаливым был хозяин новой усадьбы, молчаливой и хозяйка. Как они жили, что делалось у них за тесовыми воротами — в селе никто не ведал. Дом Павла, словно тихая обитель, без криков и ругани, без шумных застолий, без лая собак, без крика детей...

К тому времени в селе знали о происхождении Павла, подсмеивались, что заповеди секты — отказ от мирской жизни и готовность к самоограничению — Павел и до сих пор исправно выполняет, а такие, как безбрачие, подавление чувственных влечений, по-бессовестному нарушил. Работал Павел в бондарке.

И все-таки вернулся Назар в родное Топольное. Вернулся, когда отгремела война, когда больше половины мужиков и парней не вернулись с фронта. Избитого судьбой Назара покалечила еще и война. Припадать на одну ногу стал, шрамы по телу, полысел сильно, зубы вставные.

На радостях, что вернулся домой, что жив остался, напился на гулянке, устроенной колхозом фронтовикам и опозорился перед земляками, простить потом себе, командиру противотанковой пушки, долго не мог. Он помнил еще, что плакал оттого, что прошлое всколыхнулось в нем, резануло с немислимой болью, что живет здесь человек, навеки обокравший и покалечивший его, все вспомнил и плакал пьяными слезами вместе с вдовами и оставшимися в невестах невестами. А потом не помнил. Ему рассказали: он будто рассудок потерял. Отыскал у кузни сломанный задок от ходка и покотил его по улице к дому Павла. Было уже поздно, ребяташек на улице не было, а то бы засмеяли, заулюлюкали. Мужики останавливали, спрашивали:

— Назар, пойдй проспись. Што задумал-то?

Но он гнал и гнал задок к окраине. Никто не мог понять, в чем дело. А Назару в это время мерещилось, что он еще на войне, что сейчас он из пушки шарахнет по дому Павла. Назар залег у забора в крапиву:

— Огонь!

И тут же прижался головой к земле — ждал, когда разлетятся осколки. Мужики советовали:

— Рубани, Назар, по ним из «катюши», противотанковой их не взять.

— Огонь! — уронил в крапиву голову и уснул. Трогать не стали — лето на дворе.

Дело было к ночи. Вышла Клавдия из своей обители и накрыла вояку теплой фуфайкой. Стояла долго над ним, дрожа и всхлипывая.

Утром чуть свет Назара уже не было под забором, а фуфайка аккуратно висела на воротах Скворцовых.

До войны у Клавдии не было детей, а после войны будто Павел другим с фронта вернулся — она забеременела. Назар стал работать пастухом, рыбачить не мог — израненное тело сырости не переносило.

Однажды Клавдия на пойме собирала смородину, и он наткнулся на нее. Она, завидев Назара, опустила глаза и хотела пройти мимо, будто не заметила. Но Назар предупредительно щелкнул бичом и загородил конем дорогу.

— Значит, забрюхатела?! — усмехнулся он, не узнав своего голоса.

Перепуганная насмерть, Клавдия пыталась обойти коня, но не могла.

— Што бежишь? — зло интересовался Назар. — Не бойсь, не трону.

— Здравствуй, Назар, — прошептала бескровными губами.

— Здравствуй, здравствуй, Клава, — за-

кивал головой Назар. — Да-а-вно мы с тобой не виделись. Давно-о-о-о! С той поры ты вон как изменилась!

Клавдия от потрясения едва держалась на ногах.

— И меня, как видишь, война раскрасила. После того как меня, связанного, твой Паша уделал, я еще слегка походил на человека. Но фашисты, понимаешь, решили добавить...

Клавдия тихо перебила:

— Тебя не Павел бил.

— Я знаю, кто бил и за что бил — мне рассказывать не надо. Только дело-то прошлое, Демкины кости где-то у Сталинграда тлеют. А Пашка твой виновник всему...

Назару стало жалко эту постаревшую, трясущуюся с перепугу женщину, но ему хотелось добавить ей страху:

— Помнишь, в больничке, когда вы с Павлом заперлись, что я вам пообещал? — и выразительно посмотрел на ее живот.

Клавдия, смертельно побледнев, ойкнула и опустила на землю.

Испугался Назар, что сдуру так пошутил:

— Што я, фашист какой?

Но Клавдия ридила раньше срока, и девочку едва спасли.

СЛАВА ЖИГУЛИН

1

«Чирк, чирк, чирк, чирк, — поет под печью сверчок, — чирк, чирк, чирк, чирк, чирк...» Слава сильно, сильно сжимает веки, чтобы еще поспать, натягивает на голову тулуп, прижимается к остывшим кирпичам. Кирпичи вышаркались от времени, пахнут пылью. Сон никак не идет, а вставать неохота. На дворе уже апрель, но холодно, будто зима еще. У застывшего за ночь окна сидит мать Славы. В Топольном ее зовут Манечка. Она продула кружочек и смотрит через него на синий от расцвета снег, на голые ветки тополей, уныло раскачивающихся на ветру. Слава хочет, чтобы мамочка встала и затопила печку, чтобы нагрелись кирпичи и в избе стало тепло. И есть ему охота, но мамочка долго еще просидит у окна, и Слава знает, о чем она сейчас думает. От этого ему так грустно, что слезы из глаз выкатываются.

В Сибирь мамочка была эвакуирована во время войны, схоронив попавшую под бомбежку мать, отец погиб на фронте. Манечка была настолько хрупкой и изящной, что колхозники постеснялись заставить работать ее на полях или на ферме. В конторе работать она тоже не могла по причине малограмот-

ности. Председатель нашел выход. Открыли парикмахерскую, и мужское население с удовольствием подставило свои зубы под уродующие ножнички Манечки. Более года училась она мастерству стричь и всякий раз, обгромив очередную жертву, говорила испуганно-извиняющимся голосом:

— Ой! — прижимала кулачки к груди и умоляюще смотрела невинными, как спелые вишни, глазами на клиента. — Простите!

— Ничего! — подбадривали мужики. — Учись, Манечка!

Однако из парикмахерской, надвинув кепку до самых ушей, шли к латышу Курземнекс Олгерту, а он их достригал машинкой наголо. Когда волосы отрастали, снова шли к Манечке.

— Мамочка, — просит Слава, — сварь картошки.

— Ты не спишь? — спрашивает Манечка. — Знаешь, в Европе сейчас каштаны зацветают. — И, тоскуя, долго-долго смотрит в проталину на стекле.

— Ну и пусть, ну и пусть цветут там твои каштаны, — шепчет себе под нос Слава и громко добавляет: — Замерз я и картошки хочу.

Хосподи! Где мы живем? Где мы живем?! Тут спроси у любого — он про каштаны и не слышал. — Манечка от возмущения морщит носик и потирает тонкими пальчиками виски. — Медведи, медведи тут, а не люди.

Слава не хочет слышать такое. Он ведь тоже родился в Сибири, значит, и он медведь. Сколько помнит себя восьмилетний Слава, столько и слышит от мамочки: Европа, Европа... Весной мамочка, скопив немного денег, уезжала в Европу, к осени возвращалась обратно. Почему она там не оставалась и что она там делала — Слава не знал. В это время он жил у бабушки в Еловке. Бабушка была матерью отца Славы, которого Слава совсем не помнил. Он их оставил потому, что как ни старался — не смог жить с Манечкой. А теперь он насовсем оставил эти места. Горластая бабушка кричала на них с матерью: «Навязались на мою голову! Разъязви вас!»

Ругалась она потому, что вслед за мамочкой, едва отчалившей в свою ненаглядную Европу, сбегал и Слава. Уж больно хотелось увидеть ему эту сказочную страну. Правда, дальше района продвинуться ему не удавалось — милиция ловила.

— Мама, затопи печку, — ноет с печки Слава.

— Нынче присмотрю там место и приеду за тобой. Хватит, нажились, настрадались... Каторга, она и есть каторга... Пока молода, надо устроиваться...

Слава сбрасывает на пол большие серые пимы, подшитые толстой подошвой и с кожаными пятками, натягивает фуфайку. Манечка колупает на стекле острым ноготком лед.

На сенках снег почти весь стаял, длинные сосульки висят чуть ли не до земли. Славе хочется пройтись по ним палкой, чтобы зазвенели, посыпались на ломкую корочку подмерзшего за ночь снега. Холод заползает под старенькую фуфайку, а потом под рубашонку к худенькому телу, и он бежит под дырявый навес за дровами.

— Пусть едет, пусть едет в свою Европу, — отдирая березовые поленья, вмерзшие за ночь в лед, громко говорит Слава, а сам чувствует, что в горле у него першит.

Когда-то он с трепетом ожидал того дня, когда мамочка возьмет его с собой в Европу. Но два года назад произошло важное событие в его жизни, и его не стали трогать мамочкины стоны об Европе, куда она из «проклятого Нарыма» не может уехать насовсем. Путешествовать он тоже больше не стал. Произошло вот что.

Зареванного Славу Манечка доставила к бабушке в Еловку. Слава цеплялся за подол нового материного платья, кричал на всю улицу:

— Я с тобой! Я с тобой!

— За что напасти на меня такие?! — ругалась бабушка. — Кукушка чертова! На ребенка гли, как изводится! — А когда мамочка скрывалась за поворотом, а Слава оставался в цепких руках бабушки, бормотала вслед: — Гулящая девка! Штоб тебе пропасть в той Европе!

Оставшись у бабушки, Слава проплакал ночь напролет. «Был бы у меня папа, — горько думал он в ту ночь, — мы бы с ним вдвоем жили. Я бы от него никуда не убегал». Он представлял своего папу большим, добрым, сильным, и ощущение покоя приходило к нему.

К утру Слава крепко уснул. Когда проснулся, был полдень. Бабушки не было, наверно, на огород ушла. Первым делом он стал обдумывать план своего путешествия за мамой в Европу. В прошлом году его поймали в районе, а нынче надо быть похитрее. Вчерашняя острая боль в душе притупилась, сейчас он чувствовал себя просто отверженным и никому не нужным. Молчаливая печаль лежала на его по-взрослому сосредоточенном лице. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его сейчас пожалел. Он бы не стал канючить, жаловаться, нет. Он бы просто прижался, обнял бы за шею того человека и молчал бы. А человек этот не отталкивал бы его, никуда бы ехать не собирался.

У бабушки и без него, как она говорила, забот полон рот. Она жила с младшим сыном — дядей Славы, нянчила двух годовалых близнецов, а сноха Вера ходила последний месяц беременной. Бабушка разрывалась между огородом, скотиной и близнецами. Наткнувшись в делах на Славу, она мимоходом бросала:

— Молока наливай себе, в кладовке кринки, хлеб в шкафу...

Проворные руки мелькали в деле. Делала бабушка все быстро, аккуратно, по пути ругая Манечку:

— В Европу! В Европу!.. Строит из себя... Нос задирает, что через губу не переплюнет. Там сама-то — посмотреть не на что. Прости господи...

«Бабушке я тоже не нужен», — думал, насупившись, Слава.

2

Назар никак не мог найти выхода из затруднительного положения, в котором вдруг оказался. В прошлом году председатель колхоза попросил его присматривать за прудом, куда запустили зеркального карпа. Присматривать он должен был попутно, когда выгонял сюда стадо. Рыбоводство для колхоза — дело новое и неизученное. Мальки могли вообще не прижиться: может, условия не те, может, уход... Назар с удовольствием взялся за такое дело, и когда к обеденной дойке выгонял коров на песчаную косу, сам выезжал к пруду и подолгу лежал вниз лицом над водой, присматриваясь к молоди. Карпы росли быстро и наблюдать было интересно. К концу лета повадились ходить сюда ребятишки с удочками. Назар принялся было их гонять, но председатель махнул рукой — пусть рыбачат, много удочкой не выловить. А в это лето не только удильщиков понаехало — не пересчитать, и бреднем приловчились рыбачить. Назар не мог круглосуточно торчать у пруда — по договоренности он сюда раз-другой заехать должен был и все, а рыбаки осадили пруд кольцом и торчали здесь и днем, и ночью. Правление колхоза спохватилось — запретило рыбалку и удочкой, и сетью. Но остановить приловчивших к большим уловам любителей было невозможно. Пруд протянулся километра на полтора, конем по топкой осоке вокруг не проехать, бегать хромой Назар быстро не мог. Рыбачить приловчившись так: выследят, как Назар появится на противоположном конце пруда, и спокойно на его глазах заходят с бреднем. Пока хромой пастух по осоке проберется к ним, можно три раза завести, улов собрать и уйти неопознанным. С трудом переводя дух, Назар, дрожа от ярости, матерился

у свежего следа бредня, кидал в воду запутавшихся в примятой осоке мальков и костерил, костерил налетчиков, но поделывать ничего не мог.

В тот день он, как обычно, выгнал стадо на косу, подождал, пока подъедут доярки, и поехал к пруду. День был жаркий, ивы, разомлев, опустили вниз ветви, травка поникла, прижавшись к высохшей земле, птицы собрались в раскидистых кустах черемухи, сидели молча.

У пруда Назар спешился и пошел к воде помыть лицо и руки. Только было нагнулся, как метрах в десяти тихонько зашумела осока и папан, пригнувшись так, что только черные волосенки торчали над травой, быстро стал пробираться от берега к черемушнику. Назар крикнул ему: «Стой!» Но мальчонка припустил быстрее. Назар кинулся за ним. Назар скоро узнал беглеца — это был Слава, Манечкин сын, которого второй день ищут и в Еловке, и в Топольном. Слава, не обращая внимания на окрик пастуха, которого он боялся пуще всех в деревне, потому что он сильно бил коров кнутом и страшно ругался, бежал что есть духу в черемушник. Хромой Назар, однако, схватил за плечи напрягившегося, готового в любую минуту зареветь мальчишку.

— Пусти! Пусти! — царапался Слава и норовил укусить Назара за руку. — Пусти!

Назар повернул лицом к себе грязного, ископанного комарами Славу, некоторое время смотрел в его налитые слезами и отчаянием глаза, на искаженное от испуга лицо, на плотно сжатые губы и вдруг подхватил его за руки, прижал к себе.

Никогда не забудет Слава первого ощущения от крепких мужских рук. Что-то властное, подчиняющее себе было в руках Назара. Худеньким тельцем ощутил Слава это и непроизвольно прижался к груди Назара, ходившей от волнения, замер, притих, почувствовав всем своим существом надежное спокойствие от мужской силы.

— Бедолага ты, бедолага. — растроганно шептал Назар, часто моргая, и не знал слов, которые надо сказать сейчас, которые могли бы успокоить ребенка, доверчиво прижавшегося к нему.

— Спрячь меня, дядя Назар, — прошептал Слава, — спрячь меня...

Шепот Славы непонятно сковывал его, тревожно отдавался в сердце, настораживал в предчувствии чего-то нового в жизни своей.

— Спрячь меня...

— Спрятать, сынок, оно не трудно... От людей спрятать можно, а от себя? Как жить потом спрятанному?

— Я не вернусь в Еловку никогда! — горячо шептал Слава.

— Живи у меня, если хочешь. Только в сельсовете надо сказать, что нашелся ты, что жив-здоров. Бабушка переживает...

— Не говори, не говори, — просил Слава и сильнее прижимался к Назару, почувствовав безоглядное доверие к страшному этому пастуху.

Назар был весь во власти странного, никогда не изведенного ранее покоя. Не пришлось ему помянуть детей, обделила его судьба отцовством. Прожил жизнь бестолково и нелепо.

Ручонки Славы обхватили жилистую шею Назара, гладкая нежная щека, прижатая крепко к его давно не бритой щеке, разливалась в душе ни с чем не сравнимую теплоту, до боли ломило сердце, и Назар уже не мог понять: как это он раньше мог жить без этого ребенка, ставшего ему навеки самым дорогим и близким человеком на земле?

А ведь мог бы и он иметь семью, иметь детей...

Хорошее, равно как и плохое, забыть трудно. Не забыла и Зинаида Назара, от доброты сердечной дравшегося тогда с Демкой, спасая ее, Зинаиды, честь. Знала и другое, что избил Назара Демьян в ту самую ночь, когда пришел Демьян на вечерку взьерошенный, с искаженным лицом, властно взял ее за руку и повел за Луговину к стогам, а она шла, не чувствуя ног, ставших вдруг мягкими, словно вата.

Через неделю, как вернулся Назар хромым и покалеченным с войны, намучившись сомнениями, Зинаида решила пожалеть безродного Назара, стать ему женой. На такой шаг ее толкало то, что все годы тяготилась виной перед этим ершистым человеком, а с другой стороны — не куковать же одной жизнь, воспитывая Ваську — их с покойничком Демкой грех. С войны мужиков мало вернулось. Девки так в девках и состарились, а ей куда с нагулянным-то дитем?

В то утро Назар, отоспавшись от перепоя, принялся во дворе стирать свое белье. Вплыла в воротца Зинаида гусыней и запела медово:

— Постирать-то и то некому...

— Некому. — согласился Назар.

Зинаида потопталась, рассматривая заросший крапивой и лебедой двор, в избу заглянула, захохала — грязно, не белено, не мыто... Назар остервенело тер по доске рубахой.

— Давай, Назарушка, постираю.

— Стирай. — Назар закурил и пошел в избу поискать — не осталось ли где самогонки.

Во дворе ярко светило солнышко — лето было в разгаре. Выпить Назар не нашел, сел на чурку, смотрел, как Зинаида стирает. И она частенько поглядывала на него, думая о том, что полукалека Назар теперь и никому не нужен, но она обязана за доброту отплатить ему хорошим. Достраив, Зинаида вытерла руки, под села на крыльцо к Назару.

— Так один и будешь вековать, Назарушка?

— А што? — спросил Назар.

Зинаида слегка стусевалась от оттенка снисходительности в его голосе, но закончила свою мысль:

— Сошлись бы, жили бы друг возле дружки. И тебе легче, и мне.

Назар полуобернулся к ней, долго, изучающе смотрел на уложенные венчиком волосы, на праздничную кофту, на подведенные угольком брови, усмехнулся и промолчал. Его так и подмывало сказать, что пускай Демкины обеды свиньи жрут, но пожалел Зину — у нее тоже жизнь не мед. Он придавил о ступеньку окурков, сказал как мог мягче:

— За стирку, Зина, спасибо, — и пошел в избу.

Однако Зина так просто не отступила. С этого дня стала ходить к нему ежедневно. Выбелила, выскребла в избе, двор прибрала. Назар не отказывался от ее услуг, но и к себе не звал, хотя этот последний год иногда она все-таки оставалась у него на ночь.

Назар был в сущности одиноким человеком, но даже от себя скрывал это. Со дня измены Клавдии, отрешившись от всего, особенно после войны, он даже находил удовольствие в пьянке, в многообещающем прохаживании возле двора Павла. Держать в страхе Скворцовых было ему приятно. Слава очистил его совесть, заставил поразиться бестолковости прожитых лет. Обнимая Славу, он был весь во власти чего-то светлого и высокого, открывшегося ему сейчас, и потерять это — значит, заново потерять жизнь.

Дома у Назара Слава жадными глазенками разглядывал нехитрую обстановку, приятно было ступать босыми ногами на скобленный пол, приятен был полумрак от плотно закрытой цветастой шторы, деревянные миски с давно облезлыми цветочками на чистом столе дымились ухой, и Назар, босой, в нижней рубашке с засученными рукавами, был таким родным, привычным, что Славе показалось, будто он всегда жил здесь и что как бы ни случилось — он отсюда никуда не уйдет.

Они с Назаром сидели, запершись на крючок, но когда скрипнула во дворе калитка, Назар быстро захромал во двор, и Слава видела, отодвинув слегка штормку, что приходила

тетя Зина, только Назар не дал ей пройти в избу, и тетя Зина заплакала.

— Ты не пустил ее к нам потому, что я здесь? — серьезно спросил Слава.

— Ты же не хочешь, чтобы тебя здесь видели, — тоже серьезно ответил Назар.

Слава сразу придвинулся к Назару, прижался к нему, и ему было радостно и хорошо, что есть у него теперь в жизни человек, для которого он так дорог, что даже тетю Зину не пустил, да и другого никого не пустит. Они хлебали уху, и Назар рассказывал Славе о своей жизни, а больше про войну.

— Когда я вырасту большой, я тоже пойду фашистов бить. — Слава изо всех сил старался угодить Назару, потому что будет мстить за увечья, полученные им от немецких пуль.

— Пойдешь, пойдешь, — гладил Славу по голове Назар. — Фашистов тогда уж не будет, а вот в армии послужишь.

Назар мучился, прикидывая и так и эдак, как поступить с мальчонкой. Рано или поздно, а в сельсовет заявить надо. Сейчас его поди ищут. А с другой стороны, заявишь, его вернут к бабке и — все. День ото дня откладывал Назар, пока Зинаида не сделала это за него.

Утром, когда Назар погнал стадо, она выследила Славу. Так вот, оказывается, в чем дело?! Значит, когда приедет Манечка, Назар и ее может к себе пригласить. От такой мысли у Зинаиды внутри все заклокотало. Черт хромой! Она для него из кожи лезет, а он, выходит, может закрыть перед ней двери в любое время! Ну подожди! Зинаида зло брякнула калиткой и напрямик направилась в сельсовет.

— Сидите тут, карандашиком по бумаге водите, — напустилась она на председателя, едва переступив порог кабинета. — Мальчонка, значит, пропал и будто никому дела нет!

Председатель Ефим Мамаев, инвалид войны, налил левой, единственной, рукой в граненый стакан воды и протянул через стол:

— Выпей, успокойся и выкладывай все! Ходишь, понимаешь, кругами! Пришла раз — говори!

— У Назара он! — отпихнув стакан с водой, со слезами в голосе доложила Зинаида. Губы у нее задергались, и она, отвернувшись от Ефима, высморкалась в фартук.

— Не может быть! — опешил Ефим.

— Может! — кричала, давась слезами, Зинаида. — Может! Он все может, этот паразит! Он не только может жизнь Скворцовым отравлять, но и детей красть может, поселок может взорвать! Никому до того дела нет! — горько плакала Зинаида.

— Да-а-а, — протянул председатель.

Дом Назара был на замке. Зинаида с Ефимом, пробиваясь через крапиву, смотрели в окна.

— Не видно, — пожимал плечами Ефим.

— Здесь, здесь он был, — тыкала Зинаида в стекло пальцем. — Вон там, на кровати лежал...

— Надо ехать за Назаром, — сделал вывод Ефим. — С тобой тут не разберешься...

3

Мало что запомнилось Славе из дошкольных дней, но этот год был самый богатый на события и самое яркое впечатление — общее собрание колхозников Топольного.

В ветхом клубе-сараяе на высокой досчатой сцене деревянный стол, за столом милиционер и председатель сельсовета. В стороне — деревянная табуретка, на ней лицом к колхозникам, притихшим на лавках, — Назар. Назар опустил лысую голову и смотрит в пол. На первой лавке перед сценой бабушка, а рядом Слава.

В зале давно уже была тишина, но Ефим Мамаев поднялся, постучал карандашом по графину, начал:

— Десять дней назад сын Манефы Жигулиной, уехавшей в отпуск на родину в Европу...

В зале засмеялись, женщины не пропустили случая пустить несколько колкостей в адрес Манечки, а мужики, улыбаясь, поскребли в затылках. Ефим постучал ладонью по столу:

— Прошу тишины! Так вот, сын Манефы Жигулиной Слава сбежал от бабушки из Еловки. Десять дней весь район был поднят на ноги — искали беглеца, а его, оказывается, прятал у себя дома пастух Назар Евдокимов. Сегодня утром Зинаида Бокова обнаружила его там и доложила в сельсовет.

В зале опять зашумелись, заподсмеивались женщины. Ефим насупился:

— Дело, можно сказать, преступлением пахнет, а вы, товарищи женщины, ведете себя просто непонятно...

— Пусть Назар сам расскажет, как дело было, — крикнул Захаров.

Притихли, уставились на Назара. Ну не дьявол ли этот Назар — не дает скучать Топольному.

Назар встал.

— Я к пруду в обед поехал, в осоке шевельнулось что-то, я думал, рыбу кто ловит, — он наконец оторвал глаза от пола, посмотрел в зал поверх голов и надолго замолчал.

— Ну, — нетерпеливо подбадривали из зала, — дальше.

Назару словно язык прищемили. Молчал.

— Это я был в осоке! — крикнул Слава. — Я там был!

— Слава, — сказал Мамаев, — тебя спросят потом. Продолжай, Евдокимов.

Но Слава от нетерпения подпрыгивал на скамейке. Ему хотелось поскорее рассказать всем, как они встретились с дядей Назаром, как потом хорошо жили и как тете Зине почему-то понадобилось пойти в сельсовет и все там рассказать. Ему непонятно было: зачем взрослым потребовалось собирать такое большое собрание и ругать Назара, когда им так было хорошо вместе.

— Давай, давай, Евдокимов, — нетерпеливо застучал карандашом по графину Мамаев.

По напряженной тишине зала, по суровому лицу милиционера, не проронившего за все время ни единого слова, Слава чутьем уловил, что дяде Назару хотят что-то сделать плохое и виной он, Слава. Он же уговорил не выдавать его, а спрятать у себя.

— Дядя Назар, — снова крикнул Слава, — был на войне. Он весь раненый!

— Да что ты будешь делать! — возмутился Мамаев. — Кто тебя просит высказываться? Все знают, что Назар был на войне и что ранен. Сейчас разговор не об этом. Известно ли кому из сидящих, какой ущерб понес район, десять дней разыскивая пропавшего ребенка?.. Нет? А вот тут, — потрогал он внушительную папку на столе, — подсчитано. Десять дней около тридцати человек в Топольном и Еловке искали, в районе милиция вся была поставлена на ноги и в область уже сообщили. Сообразили, чем пахнет?

Назар стоял на сцене, молчал и, чтобы не видеть, как суетится Слава, стараясь выгородить его, смотрел в пол.

— Евдокимов, — председатель пытался заставить говорить Назара. — Все ждут объяснения, а ты в молчанку играешь!

Назар поднял глаза, долго смотрел на Славу, потом спросил у него, будто они одни здесь были:

— Слава, сынок, ты хочешь у меня пожить, пока мама приедет?

— На детскую психику не дави! — предупредил Мамаев. — Номер не пройдет. Жить ребенку есть где. Нашелся воспитатель!.. Я еще раз предупреждаю, что дело это серьезное. И если Евдокимов не хочет рассказать все чистосердечно сам, разберемся без него, но тогда уж пусть пеняет на себя!

— Разбирайтесь, правда, без меня. Оно лучше, — сказал Назар и сел.

И принялись колхозники разбираться...

Назар сидел и слушал, как справедливо

стыдили его женщины за пьянку, за то, что Скворцовым жизни не дает, что бедную Зинаиду, которая все для него делает, не берет в жены, за то, что мальчишка рвется к нему, а чему у Назара хорошему можно поучиться? Он и сейчас себя вызывающе ведет, а бедная старуха, бабка Славы, вся испереживалась за внука. Много предъявили претензий Назару колхозники, но почему Слава сбегает из дома, в том почему-то не разобрались.

Красный от стыда и горя сидел Назар перед собранием, не смея глянуть на Славу, потому что вывернули перед этим дорогим ему человеком наружу всю его непутевую жизнь, очернили в глазах Славы, а он не такой уж малыш, чтобы ничего не понять, и не такой уж взрослый, чтобы отделить зерно от шелухи.

Кроме стыда, что натерпелся на собрании Назар, на него был составлен акт, и ему полагалось выплатить большую сумму денег, затраченную на поиски Славы.

На другой день, когда Назар в потемках возвращался домой, его окликнул Слава. Слава прятался за углом дома и, видно, давно Назара дожидался.

— Сбежал?! — задохнулся Назар, отдирая ручки Славы от своих плеч и стараясь заглянуть ему в глаза.

— Сбежал! — Слава едва держался, чтобы не зареветь от радости, что видит Назара. — Я вечером убежал. Бабушка еще не хватилась.

— Охо-хо-хо-хо, — застонал Назар, как от зубной боли, — что ж делать теперь? — И сел на ступеньку крыльца.

— Не знаю, — вздохнул по-взрослому Слава, прижавшись головой к руке Назара.

— Вот и я не знаю.

Назар принялся шарить по карманам кيسет, а Слава побежал к почтовому ящику на калитке, чтобы вытащить газетку и оторвать маленькую полоску на самокрутку. Оторвал, наслюнявил краешек, подставил под табак. Разминая щепотью самосад, Назар медленно сыпал его в подставленную бумажку, а потом ждал, когда Слава, неловко работая пальцами, свернет ему самокрутку.

— Давай, брат, наверно, сделаем так... Сходим к твоей бабушке.

До Еловки они шли быстро и молча, взявшись за руки. А когда возвращались обратно, висела над лугом полная луна, и было светло. Слава все забегал вперед перед Назаром, стараясь заглянуть ему в глаза и хотя за день устал порядочно — третий раз идет этим путем, — усталости не чувствовал. Его как проввало: столько надо было сообщить Назару важного и нужного, что Слава захлебывался в словах, сбивался с одного на другое, гово-

рил, говорил... Назар, как и полагается старшему, степенному и умному человеку, слегка улыбаясь, слушал и не слушал его болтовню — у него распирало грудь от неудержимой радости, оттого, что кончилось его одиночество, точившее его.

— Три танкиста, три веселых друга... — запел Назар неожиданно приятным голосом, а Слава подхватил:

— Экипаж машины боевой...

4

Безжалостная дотоле жизнь снизошла к Назару, подарила росточек радости. Они со Славой сутками не расставались: пасли вместе, гуляли, купались и всегда чутко прислушивались друг к другу, стараясь предугадать желание другого, исполнить его. Теперь, прогуливаясь по поселку вечерами со Славой за руку, у Назара был такой важный вид, столько он затрачивал сил, чтобы поменьше хромать, что соседи удивлялись:

— Смотри ты!

— Вот тебе и Назар!

— Ой, да на неделю-другую все это... Будто Назара не знаете!.. А вообще, черт его знает!.. Приедет скоро Манечка...

— Да уж лучше бы у Назара мальчишка жил, чем у той Манечки...

— Назар Матвеевич! Зайди, молочка парного налью.

— Спасибо. Мы уже поужинали, — отвечал Назар, и они шли дальше.

Каждое воскресенье, по договоренности с бабушкой, они ходили к ней в гости. Во время этих обязательных визитов бабушка придирчиво осматривала одежду внука, спрашивала, как ему живется, что они едят. Назар сидел в стороне, ревниво следил за проходившим осмотром. Однако ему по душе была эта женщина. Тогда, в клубе, она не кричала, не возмущалась, как сделала бы другая на ее месте, а после собрания взяла всхлипывающего внука за руку и еще кивнула Назару: прощай, мол, сердечный. Иначе бы он не решился идти к ней просить, чтобы Слава жил у него. Правда, она замахала руками, дескать у меня нет времени попусту с тобой толковать, и ему пришлось чуть ли не на коленях умолять ее, а Слава в это время заявил: если она не отпустит его к Назару, то он завтра же сбежит, и никто его не найдет. После всего этого бабушка вытерла фартуком слезы, собрала узелок, велела приходить к ней каждую неделю, а потом долго стояла на улице, смотря им вслед, и, наверное, думала о том, что дети, как никто другой, чувствуют добро и любовь, не удержимо рвутся на теплый огонек.

Осень неотвратно приближалась. Дни стали короче, прохладными ночами густо ложился туман, и ранним утром, когда еще солнце только красноватым заревом слегка подкрашивало небосклон на востоке, а трава белесо отсвечивала от густой росы, Назар садил в седло перед собой заспанного Славу, укутывая брезентовым дождевиком, и они отправлялись собирать по деревне стадо. От двора к двору коров становилось больше. Пощелкивая бичом, Назар молча сбивал животных поплотнее, а когда доходили они до дома Скворцовых, разношерстное стадо мычало десятками голосов и дружно пылило в сторону выпаса. У калитки Скворцовых Назар, отдавая особое почтение скромной и тихой обители, подбоченивался, кричал одно:

— Секта! Гони пропастину!

А когда Клавдия робко выгоняла свою Голубку в стадо, он приноравливался огреть бедную животину вдоль спины кнутом и добавлял:

— Шевелись, пацкуда! Так-перетак!

Клавдия, чтобы не видеть этого, всякий раз быстро скрывалась за тесовыми воротами.

В это лето при Славе Назар не хлестал Голубку кнутом и не кричал ругательства, но «Секта, гони пропастину!» выкрикивал ежедневно — привык.

Самое-самое лучшее для Славы было время обеденной дойки. Они тогда садились на коня и уезжали часа на два к пруду. Оплату за охрану карпа колхоз определил Назару: две рыбины в день. Двух карпов удочкой и вылавливали Слава с Назаром в обед. Тут же на бережку разводили костерок и варили уху. Наевшись, Слава засыпал, а Назар ходил вокруг пруда — смотрел, не напасть ли кто.

Вечером забот было не меньше: Славу готовили в школу. Конечно, и бабушка приложила старания, но Назар на скудные свои гроши купил ему обувь, книги, отдал перешить гимнастерку, которую надевал по праздникам, купил восьмиклинную кепку — кепка оказалась большеватой, но меньших в сельпо не нашлось, и Слава ходил в ней до шестого класса. В шестом классе она стала ему как раз, но к тому времени сильно истрепалась и замаслилась. Бабушка сшила Славе новые штаны, фуфайку.

Слава уже проучился две недели, когда пришло письмо от мамочки. Назар сквозь зубы читал вслух, едва разбирая разнокалиберные каракули:

«Слава, я приеду в октябре последним парходом. Я сильно скучаю по тебе, и сильно люблю тебя. Я приеду не одна. Теперь у тебя будет папа. На то лето мы все вместе уедем

в Европу. Целую тебя и плачу, потому что сильно хочу тебя увидеть. Мамочка».

— Она плачет! Она плачет! — кричал бледный, как стена, Назар. Хромая больше обычного, он топал по избе, тряс письмом и скрипел зубами.

Слава сидел на лавке у стола, испуганно смотрел на Назара и впервые думал о том, что когда придет мамочка, то ему нужно будет перейти домой. Ему сделалось до слез жалко Назара, но мамочку он тоже любил, и у него даже задрожали губы, когда он увидел, как Назар, скомкав письмо, пустил его в угол, где стоял пихтовый веник. Слава сорвался с места, кинулся туда, схватил бумажку, прижал к груди, а Назар вдруг перестал бегать, опустился на табуретку, сник и все смотрел на кулачок Славы, прижатый к груди, на налитые слезами его глаза.

— Прости, сынок, — помолчав, повинился Назар. — Накатило что-то... Мама, конечно, это хорошо...

И чтобы искупить свою вину полностью, он тут же предложил:

— Давай с тобой вот что сделаем: приготовим маме и твоему новому отцу подарки. Время у нас целый месяц — успеем.

— Давай! — загорелся Слава и побежал прятать под подушку письмо.

5

Отцветут за весну деревья, отшумят за лето буйной зеленью, согнутся под тяжестью плодов, отдадут щедро дары земли, воды и солнца людям, а потом, будто вздохнув, распрямятся к осени и, перед тем как зачернеть мокрыми стволами, вспыхнут яркой разноцветной листвой на золотом восходе солнца и всего короткую неделю, как одно мгновение, будут гореть, но зато как гореть! Всему горящему короток век, зато сила огня никогда не оставляет равнодушными даже самых равнодушных.

В рядную такую пору осени и пришло письмо от Манечки, а в душе Назара, в предчувствии скорой разлуки, зажглась никогда неведомая им ранее, прямо-таки болезненная любовь к Славе, ударила больно по сердцу. Он старался не забегать вперед и глушил в себе мысль о скором расставании, но ночами не спалось. Назар вставал, на цыпочках подходил к Славе и долго сидел у его изголовья, боясь скрипнуть табуреткой или тяжело вздохнуть.

Скоро должен был прийти парход. Слава суетился, смеялся и трепетал в ожидании его. И Назар отодвинулся в сторону — затмила его мысль о мамочке. Только и делов было,

что снять с гвоздя шкурку рыжей лисы и потрясти ее, подуть на мягкий золотистый мех, представить, как засмеется мамочка, открыв в удивлении вишневые глаза. Для отчима они приготовили пачку папирос «Казбек» и зажигалку. Радовался, ликовал Слава и не знал, что самым надежным убежищем в жизни будет для него любовь Назара, что та сила, которую впервые почувствовал он там, у пруда, будет верно защищать его даже тогда, когда сам станет отцом.

На пристани между бочек с рыбой, которые приготовили к погрузке на баржу, сутились женщины и мужчины, старики и старухи и, конечно же, вся деревенская ребятня. Когда с подчалившего двухэтажного парохода сбросили трап, мужики, все до единого, как по команде, кинулись к буфету за пивом. Матросы кричали, толкали их назад, потому что вначале надо было пропустить прибывших пассажиров, но согнать было не просто. Матросы смирились и терпеливо стали ждать, когда освободится трап.

Слава и Назар стояли поодаль и оба, одинаково волнуясь, ждали, когда покажется мамочка с отчимом. И они показали. Манечка тащила громадный чемодан, а отчима, едва стоявшего на ногах, вывели матросы под руки. Был он худой и длинный, а лица Слава разглядеть не мог, потому что он так согнулся, что Слава вначале пришел в ужас — может, он такой согнутый и есть? Однако злая, как никогда, мамочка шлепнула его что есть силы по лбу, притопнула каблучком:

— Ты на ребенка глянь!

Слава знал, как умела мамочка драться. Почему-то ее побои были не очень болезненны, но до крайности обидны. Она хлестала Славу обычно прутиком и при этом кричала и плакала, будто не она дубасила, а ее.

— Хосподи! — закричала Манечка глазами. — Навязался на мою голову. Ты на ребенка, на ребенка посмотри!.. Слава, деточка, здравствуй, милый. — Мамочка всхлипнула и холодными губками притронулась к щеке Славы.

— Вот, — сказал оторопелый от такой встречи Слава и подал ей сверток с лисой.

— Что это? — Манечка торопливо принялась разворачивать газету. — Бог мой! — Искрами засияли ее глаза. — Откуда роскошь такая? — Она сбросила шкурку себе на плечо, хохотнула, потерлась подбородком о мех и от радости чуть не заплакала.

Отчим мутными глазами смотрел на Манечку и часто икал. Ему Слава подарок отдать не решился. Почему к пристани Славу привел Назар, а не бабушка, Манечка спросить забыла. Она все ласково гладила лису и зло

сверкала вишнями на отчима. Назар взял чемодан, и они все направились к дому мамочки. Потом Назар топил печку и варил что-то, Слава подметал пол, а Манечка, стасив с отчима, завалившегося на пыльную кровать, ботинки, примеряла перед зеркалом лису и тряпочкой махала по своей гитарке, сгоняя пыль. Наконец она управилась со своей работой и поманила Славу пальчиком к себе.

— Иди, сыночек, ко мне, расскажи, как ты учишься, как жил?

6

Не повезло Манечке с мужем. Месяца два спустя после приезда он сбежал от них, прихватив с собой на всякий случай шкурку лисы. По отчиму Манечка не горевала, а по шкурке изревелась. В следующую поездку в Европу она опять привезла отчима, но уже другого, и прожил он с ними до следующего путешествия, из которого Манечка вернулась одна, совершенно несчастная и разбитая. И вот, когда Слава вырос и учился уже в девятом классе, мамочка снова привезла отчима. Звали его Мирон. Очередной папа оказался не таким ветрогоном, как предыдущие. За зиму они со Славой подняли на задах огорода пригон и на скопленные деньги мамочки, которые она приготовила на путешествие в Европу, купили телочку. По этому поводу у Мирона был большой скандал с мамочкой, и они чуть было не остались без отца, но потом все обошлось. С неделю мамочка редела горькими слезами:

— Провались в болото, сгни в огне ты, проклятый Нарым! — но в Европу это лето не ездила.

Для Славы Европа так и осталась такой, какой он представлял ее себе по географии и книгам. Но не горевал и уже в девятом классе, когда появился у них Мирон, счел уместным и своевременным отучить раз и навсегда мамочку от путешествий, пригрозив, что если она еще раз кинется в Европу, то он или навсегда перейдет к Назару, или уедет от нее и — поминай как звали. На такую категоричность мамочка широко раскрыла изумленные вишни, обидчиво задергала накрашенными губками. Наверно, в бесшабашной ее голове, где, как говорил новый отчим, одна извилина и та пунктиром, впервые проскользнула забота о своем будущем. В это лето Слава с Мироном вспахали огород и засадили его картошкой. Мамочка с ее длинными ногтями и бордовым маникюром к земле не притрагивалась. Мирон оказался мужиком хозяйственным, тянулся к достатку. Работать он устроился бондарем на бочкотаре в засольне. Деньги мамочке не отдавал, а покупал то тес для

нового дома, то бревна, то платил за вывозку. Славу он полюбил и по-дружески наставлял его:

— Ты, Вячеслав, женись с выбором. Такую. — он кивал в сторону Манечки, — не бери. Будешь зарабатывать, а она мотать будет. Я от той ушел потому, что такая же была, и снова попался... Той все оставил. Теперь поди промотала...

Они с отчимом полостили огород, Манечка щипала на гитарке струны и тоненько пела: «Все птички-канарейки, все жалобно поют...» Летом она прямо извелась и исплакалась по Европе. Славе даже иногда ее жалко делалось. А отчим почувствовал себя здесь на месте и, глядя на страдания Манечки, только подсмеивался:

— Поди уж и каштаны зацвели, а у нас все зима!

Манечка не выдерживала такого издевательства. Она судорожно водила длинными пальчиками себе по горлу туда-сюда, туда-сюда, расстегивала ворот платья — демонстрировала отчиму, что она задыхается от его насмешек.

— А может, уже отцвели, — озабоченно добавлял Мирон, будто не замечая страданий Манечки.

— Прекрати! — взвизгивала Манечка и прикладывала платочек к носу.

Поздней осенью коров загнали в теплые пригоны, а Назар возил с Оби на фермы воду. За последний год он, видно, от недомогания сделался нелюдным и угрюмым, молча волочился возле обледенелой бочки от Оби до фермы, а вечером, если не приходил к нему Слава, — пил. А Слава стал бывать у него редко — налаживали с отчимом хозяйство.

Как-то он возвращался из школы и увидел, что за бочкой идет дед Милантий.

— Захворал, захворал Назар, — сказал Милантий, — сколько не прыгай, а прихватит — не увернешься.

Слава постоял, посмотрел вслед закуржавелой кляче и пошел к Назару. Ночью была пурга, и дверь почти по запор забило мелким колючим снегом. Видно, дверь давно не открывали, потому что снег успел утрамбоваться. У Славы нехорошо заскребло в сердце. Он в нерешительности стоял: заходить или нет? Может, позвать кого? Мялся всего какую-то минуту, а потом решительно рванул на себя дверь. После ослепительного солнца в избе трудно было что-то рассмотреть. Окна затянуло льдом, печка не горела. Холодно.

— Сынок, — позвал Назар, пытаюсь встать с постели. — дожждаться тебя не мог. Скрутило поясницу — не согнуться, не разогнуться... Простыл, наверно...

Что-то задержало Славу в дверях: не то убогость избы, не то исхудавший Назар. А тот улыбался, до слез радуясь его приходу, и пытался разогнуться, чтобы встать. Слава стоял в двери — у него словно клещами сдавило горло и не мог слова сказать. Наконец прошептал:

— Пришел. — И больше не мог говорить — боялся разреветься. Это за все, что сделал для него Назар, он так отблагодарил! Мирон пригрел — он к Мирону перекинулся. Подлец, подлец! — казнил себя Слава и не двигался с места. Почему-то хлестало по глазам убожество избышки. Будто он раньше не видел изрубленного у плиты пола, обвалившейся штукатурки на закопченных стенах... — Лежи, лежи, дядя Назар, — шепотом сказал Слава. — Я пойду дров нарублю.

Он несказанно обрадовался такому заделью и выскочил на улицу. Там он с остервенением рубил дрова, вышибал из глаз щемящую, расслабляющую жалость.

В избе нагрелось быстро. Через час на оконных щибках лед стал подтаивать, а еще через час побежала вода по тряпочке в подвешенные к подоконникам бутылки. Слава варил мясо и картошку, а Назар, сидя в постели, брился перед осколком зеркала.

С этого дня Слава ежедневно навещал Назара, иногда оставался ночевать. Назар давно выздоровел, снова возил воду.

Однажды таким вот зимним вечером произошел у них интересный разговор. Они поужинали с Назаром, сидели потом, пили чай. В печи дрова прогорели. Слава помешал клюшкой угли, подцепил оставшуюся головешку щипцами, пошел на улицу выбрасывать. Ночь набрала силу и светила бесчисленными зрачками звезд. Луна висела прямо над деревней. Слава постоял немного возле сенок, дрожа от мороза, подул на руки, зашел в избу, задвинул вьюшку. Ему расхотелось уходить домой — дома привыкли, что он живет на два двора и не теряли его, если он не появлялся даже по дню или по два.

Слава немного полежал, накрывшись тулупом Назара, под которым спал все годы своего детства, но сон почему-то не шел.

— Дядя Назар, — позвал он.

— А? — откликнулся тут же Назар.

— Зря ты не женился на тете Зине. — Слава считал, что его возраст позволяет говорить о таких вещах с Назаром, заменившим ему отца. — Она ведь неплохая женщина. Любила тебя, наверно.

— Любила! — Назар усмехнулся. — Она и слова-то такого не знает.

— Ходила же к тебе.

— Ходила... Жалела... Я што, собака без-

домная, чтобы жалеть?! Сердце, Слава, не приняло у меня ее. Не приняло и все. А я, вишь, человек такой, сердцем живу.

— А что, хорошо это — сердцем жить? — Слава смотрел в темный потолок и хотел одного, чтобы ниточка такого разговора не оборвалась. Он уже начинал чувствовать непонятную тревогу сердца, но прямо говорить об этом не мог.

— Как тебе сказать, — задумался Назар, — вот, к примеру, в сердце вступит желание какое-то, так вступит, прямо дрожь по телу. Голова сразу начинает соображать: как угодить сердцу? Ищет всякие уловки, а сердце ноет, подталкивает, торопит — голова в огне — выхода ищет. А если наоборот: что-то зашло в голову и вроде хорошо так сделать-то и надо бы сделать, а сердце и не дрогнет даже, будто лед там, даже покалывает — сопротивляется. Пойти против сердца куда труднее, нежели против разума. Другой пересилит сердце и сделает по разуму. Думаешь, он счастье себе этим сыскал?! В добровольную кабалу, в муку закопал себя на всю жизнь.

— Значит, ты счастливый?

Назар долго молчал.

— Историю-то с Клавдней знаешь, небось?

— Знаю. — Слава улыбнулся в темноте.

— Изрубила она меня тогда, в куски изрубила... Думал их обоих жизни решить, крушиной хотел отравить, самому под пулю пойти... Головой хотел, а сердце не пустило, не дало людей сгубить. И слава богу... Потом тебя у пруда нашел... Вон сколько у нас пациентов на улице, а сердце почему-то тебя только впустило.

— Может, другие не просились туда?

— Может...

— А тетю Клаву жалеешь все?

Назар что-то хотел ответить, потом замаял и о другом сказал:

— Нету у меня на них зла, совсем нету.

— Зачем же ругаешься у их дома, когда скот гонишь!

Назар хмыкнул:

— А так, для интересу! Они ж боятся меня оба с Павлом как огня. А он?! Такой мужик и ни разу не вышел прогнать меня или бы палкой шибанул, чтобы оставил их в покое... Хоть взорви их дом — он покорно снесет все! Ну што ж за человек он такой! Вот только от этого зло берет.

— Чем же он тетю Клаву покорил?

— Чем, чем! Тем, што нам с тобой и во сне не снилось!.. Он же с Лены бежал, с секты, значит, золота, видно, с собой изрядно прихватил... В первый же год отстроился и скотину завел, когда в колхозе по копейке на трудодень было... Клавка в больнице вынохала

про золото — вот и остался я бобылем со своим сердцем-то... Мы против них нищие с тобой. Майку видел, как одевают? Говорят, и на свадьбу приданого собрали — сундук ломится. Ягода — не невеста, бери и пальчики облизывай.

— Думаешь, у них и сейчас золото есть? — разговор был до крайности интересен, и Славе расхотелось спать совсем.

— Пять лет назад Павел домой на родину ездил по какому-то письму... Секта-то распалась, а золото где? Он тайники наверняка знал. С пустыми руками, думаешь, назад вернулся?!

С Майкой Скворцовой Слава учился в одном классе. Забавно было слушать Назара и представлять Майку миллионершей. Слава улыбался и думал, что надо завтра подойти к ней на перемене и сказать, как Остап Бендер Корейке: «Дай миллион! Дай миллион!» Интересно, что бы она ответила?

С той ночи Назар посеял в сердце Славы семечко интереса к Майе Скворцовой, и семечко то, проклюнувшись, стало прорастать.

МАЙЯ СКВОРЦОВА

1

Майка откинула краешек одеяла, нащупала босыми ногами тапочки, подцепила их на одни пальцы и на цыпочках прошла к окну. В доме было до того тихо, что легкое потрескивание расшатавшихся половиц показалось ей в полудночный час громом небесным среди ясного неба. Вообще-то у нее была своя комната и можно было пройти к окну спокойно и спокойно раскрыть его, но мать обычно спала чутко и с самого младенчества, сколько Майка себя помнит, стоит ей только пошевелиться на кровати — мать сразу же приоткрывала к ней занавеску на двери:

— Дочка, не спишь?

Майка, если даже не спала, сразу притихала, и мать, перекрестив ее, подталкивала под бока одеяло, наклонялась над головой, бормотала не то молитву, не то заговор какой. Майка ни в какие молитвы и заговоры не верила, но на мать не сердилась, и даже наоборот: когда мать начинала бормотать, сидя на краешке постели, Майку сразу клонило ко сну, и она крепко засыпала. Своих родителей она вообще считала людьми с чудинкой и с высоты своего образования относилась к ним несколько снисходительно. И в самом деле, не смешно ли, что они уже давно, едва она успела появиться на свет, начали готовить ей приданое — это в наше-то время! Право, смешно, и она со своей неразлучной подругой Лидой,

которая живет через дорогу, смеется над этим пережитком, хотя Лида и дразнит Майку — купчиха.

Затаив дыхание, крадется Майка к окну. Не хочется ей сегодня, чтобы мать приоткрыла занавесочку и спросила свое обычное: «Не спишь, дочка?» А Майке не спится и все. Что-то неуловимо, но настойчиво вползло в ее сердце, и Майка, замирая, старается понять, что там происходит, но понять не может и, наслаждаясь тем таинством, ищет уединения, а при окрике или шуме вздрагивает и испытывает почти физическую боль. Ей кажется, что только с ней случилось такое, что другие ничего подобного не испытывали и не испытывают, от этого ей и жутко, и радостно.

Окно раскрывается со скрипом. Майка хмурится — не дом, а рассохшаяся телега — все скрипит, все ходуном ходит. Она боязливо оборачивается на занавеску, забирается на подоконник, усаживается, поджав к подбородку колени. Мгновение сидит так, потом прислоняется головой к косяку, блаженно прикрыв глаза, вдыхает полной грудью тяжеловатый от прохлады и сырости ночной воздух. Через минуту, утратив ощущение времени, она будто растворяется в бесконечной ночи. Может, во сне, а может, наяву, она плывет, плывет куда-то в этой ломающей душу тишине. Плывет легко и просто сквозь сплетение черемуховых ветвей, сквозь редкие матовые облака, плывет в темное небо, где недвижно замерли таинственные голубые звезды. Радостную легкость и тревогу испытывает она от всего этого. Светлая музыка звучит у нее в груди, сладкая истома пронизывает все тело. Иногда ей кажется, что никогда не отпустило, всегда жило в ней это чувство, только лежало там, где-то на дне, пританцовывая до поры, чтобы в одно прекрасное время стремительно и больно сжать ей сердце. Осенью она ничего подобного не испытывала. И даже когда девочки доверчиво делились с ней своими сердечными тайнами, Майка с прирожденным женским любопытством выслушивала их, в душе же посмеивалась — не верила, что такое может накатить всерьез. Ей казалось, что девочки выдумывают все или просто подражают героям из любимых фильмов: любят и страдают все наигранно, надуманно.

А разве не так?

В девятом классе все вообразили, что влюблены в Славку Жигулина. Вздыхали, кокетничали с ним. Майке противно было слушать их вздохи: «Ах, Славка! Ах, красивый! Ах, прелестный!» Тогда Майка назло девочкам и этому смазливому Славке стала просто не замечать его. При встрече демонстративно отворачивалась. С осени и до самой весны де-

вятого класса она презирала всех красавчиков, считая их воображаемыми и пустоголовыми хвастунами. Ей прямо-таки доставляло удовольствие стремительно и безразлично проходить мимо Славки, когда тот после своего обычного приветствия почему-то смотрел еще некоторое время ей вслед. Майка знала это и, злясь, чувствовала непрошеную теплоту от взгляда его карих глаз. Она прикусывала от возмущения уголок нижней губы и бормотала дурацкое: «Выставился! Больно нужен!» Однажды он совсем обнаглел. Как-то Майка, отыскав свое пальто в раздевалке, выбежала в коридор и столкнулась с ним. Славка стоял на пороге входной двери в школу и, едва она поравнялась с ним, стал в проеме и загордил выход.

— Уйди! — свела Майка брови у переносицы.

— Не уйду! — улыбался Славка.

— Уйди! — выкрикнула Майка и попыталась столкнуть его.

— Не уйду! — все улыбался Славка и продолжал стоять.

Тут подошли девочки, стали кокетничать с ним, улыбаться.

— У меня два билета в кино. — Славка склонил голову набок и, дразня девочку, помахал голубенькими бумажками над головой.

— Слава, дай мне один! Дай мне один! — засуетились вокруг девочки, а Майка презирала их в это время — никакой гордости.

— Не могу, — с нарочитой печалью вздохнул Славка. — у меня Майя уже выпросила.

От такого нахальства Майка даже задохнулась. Она так рванулась в дверь, что не придержав ее Славка, она наверняка бы свалилась с крыльца.

— Подумаешь, — завозмущались ей вслед девочки, — завоображала.

Посреди школьного двора Майку словно кто-то толкнул, и она обернулась: в окружении девочек стоял Славка на крыльце и усердно дул на голубенькие кусочки от разорванного билета. Легкие бумажки мелькали в воздухе и долго кружились, падая с высокого крыльца школы.

Она хотела оставить этот эпизод без внимания, но помимо ее воли, и наглое Славкино «Не уйду!», и разорванные билеты, и то, что он наверняка нарочно ждал ее у входа школы, лезло все в голову, хоть умри. Тогда впервые, придя домой, Майка зашла к себе в комнату, отшвырнула в сторону портфель, упала на постель и разревелась злыми слезами. А когда немного успокоилась, подумала, что, конечно, такой поступок Славки возмутителен, но и ей должно быть стыдно по-бабьи реветь из-за совершеннейшего пустяка. Она попыталась,

вообразив Славкино лицо, вызвать в душе к нему ненависть, но как только понеслись ей навстречу его смеющиеся глаза — у нее снова задрожали губы, и она, размахнувшись, что есть силы трахнула кулаком по подушке. «Надо будет, — подумала она со злорадным наслаждением, — завтра в бане Лидке все рассказать. Она при случае найдет, что ему ответить!»

По субботам они с Лидой топили баню. Топить баню стало их обязанностью с восьмого класса. С утра они носили с Оби воду, а после обеда растапливали печь. Порядок мытья был таков: вначале шли их отцы, потом матери, а когда очередь доходила до них — в бане подостывало, угара не было, и от ковшы воды, что выплескивали они на каменку, едва разведшись в предбаннике, поднимался слабый пар, и мыться на полке было впору. В бане они мылись часа по два. Иногда даже матери приходили справиться — не угорели ли? Они и вправду угорали, только не от дыма, а от той интимности, что нагонял на них полумрак пропахнувшей березовым веником и дымом бани, слабое мерцание коптюшки на подслеповатом окне, их собственные расплывчатые тени, темные углы и черная яма под полком, где водились, конечно, черти и домовые. Едва сбросив с себя одежду, подружки будто враз освобождались не только от платья, но и от того, что не давало говорить обо всем исключительно, выворачивать наизнанку наболевшее. Мрачная, полутемная и теплая баня была таинственным местом, и девочки, приглушив голос до полусшепота, выкладывали друг другу самое сокровенное, ничуть не стыдясь и не краснея. Майка всегда с тайным превосходством замечала, как низенькая Лида с едва скрываемой завистью рассматривает ее фигуру. Некоторое время они сидят и молча плещутся в воде, но вот Лида свернула в тугий жгут свои длинные волосы, приткнула узел надо лбом гребенкой, налила новой воды, небрежно бросила пригоршню в лицо и, мечтательно похлопывая ладонью по воде в тазике, начала:

— У Вальки Стальского такие глаза... Я просто не могу...

Отсюда и пойдет. Это свое «не могу» Лида за вечер раз двадцать скажет. Майка помнит, что в прошлый раз Лида восхищалась карими глазами Валерки Корнева, но вида не показывает, а подливает масла в огонь:

— Мне кажется, что он в тебя влюблен.

Лида стыдливо опускает глаза и шепчет:

— Мне самой так кажется.

Майка прощает подруге такую влюбленность. Лида много читает, читает запоем по ночам. И вообще она живет какой-то нереаль-

ной жизнью, мечтает о чем-то неосуществимом, а по окончании школы собирается поступать в библиотечный институт. Майка категорически протестует против такого выбора: денег библиотекарям платят мало — раз, учиться долго — два, а главное — будешь над копейкой всю жизнь дрожать. Лида горячо спорит: не в деньгах счастье! Майка перебивает: во всем счастье — и в любви, и в красоте, и в мечте, а если денег не будет, то не будет ни любви, ни мечты! Против такой категоричности Лида не находила слов, припоминала, что если она не идет на вечер в школу потому, что у нее нечего надеть, кроме формы, то Майка весь день ломает голову, перебирая свой богатый гардероб: какое платье лучше надеть. И если Лиду за вечер ни один мальчишка не пригласит и танцует она только с девчонками, то разодетую Майку приглашают на перебой. Вот тебе и не в деньгах счастье.

Девчонки увлекаются разговором. Коптюшка начинает мигать, совсем темнеет. Майка соскальзывает на пол, налаживает огонек.

Лида все говорит и говорит с замиранием в голосе о своих чувствах, а Майка сидит, приоткрыв, чувствуя, как безнадежно уходит от нее желание поделиться с подругой тем непонятным, что происходит с ней, о случае с билетом...

2

Пастух Назар мешал Майке жить. После окончания десяти классов Майка особой ненавистью возненавидела его. Проснется она ранним утром, окно раскроет, чтобы запах цветущей черемухи в комнату проник, а потом снова заберется под одеяло и, забыв про все на свете, наслаждается накатившим на нее чувством. Вдруг как резанет за углом по сухой дороге бич, ка-ак гаркнет Назар:

— Шевелись, пацкуды! Так-перетак!

У Майки острой болью покалывало сердце.

— Секта! Выгоняй пропастину!

От негодования у Майки внутри все разрывалось. Она вскакивала и с треском захлопывала створки окна.

— Противоза противная!

Сколько себя Майка помнит, столько и идет холодная война между ее родителями — работающими и серьезными людьми и этим пастухом — Назаром. И хотя фамилия у них Скворцовы, он называет не иначе как Секта. Еще возмущало Майку то, что отец с матерью покорно сносят его издевательства. Совсем маленькой девочкой Майка пробовала сама бороться с Назаром. Вначале она бросала из-за куста черемухи в него шепками, но они, видимо, не долетали, потому что пастух даже

головы не поворачивал в ее сторону. Потом она вытащила у отца из ящика со всякими железяками большую гайку и, приловчившись, бросила так, что попала коню в шею. Назар осадил коня, повернул на притихшую за кустом Майку голову, удивленно воскликнул:

— Вот это да! Секта сопротивление оказывает!

Табун давно скрылся за поворотом, а Назар все стоял и смотрел на куст черемухи. Майка, конечно, сильно перетрусилась. Она думала, что сейчас он подьедет на коне к забору и выдернет ее за шкурку из-за куста. Но Назар не подъехал, отпустил поводья, и конь тихо побрел за стадом, а Назар все оборачивался на дом Скворцовых.

Накануне экзаменов в десятом классе Майка, натура восторженная и романтическая, устав от зубрежки, отправилась на луга побродить, подышать запахом молодой зелени и попеть во весь голос так, чтобы никто не мешал. День был пасмурный, но дождя не было. Сразу за селом был овраг, поросший молодыми елочками, а за оврагом начиналась березовая роща. Такой рощи, утверждали приезжие, в других местах не было. Роща тянулась километра два, и пока Майка шла, начал моросить дождь. Так не хотелось домой возвращаться! Она решила: нагуляюсь, надышусь, пусть даже вымокну, а уж потом дома переоденусь, поем горяченького и заберусь с учебником в постель. За рощей начинался луг, редкие кусты боярышника торчали, побурев от дождя. Скользя намокшими туфлями, Майка пошла по натопанной дороге. Она не особенно расстраивалась, что прогулка случилась под дождем — настроение было легкое. Об одном жалела, что не догадалась надеть сапоги и плащ. Мама, думала Майка, радуется сейчас, что дождь пошел. Уж сколько дней твердит: ой, дождя нету, ой, дождя нету, пропадет все в огороде, малина на цвету посохнет... Наверно, мама шепчет сейчас: слава те господи, порадовал дождем. Майка вспомнила вечно озабоченную, копающуюся на грядках мать, представила, как она радуется дождю, и закричала, кружась под теплыми струями:

— Дождик, дождик, пуше,
высохла земля!
Тучу в огороды,
десять на поля!

Дождь и впрямь припустил сильнее, и на появившихся лужах вскипали, бугрились мутные пузыри. Майка шлепала напропалую по лужам, сняв туфли и чувствуя сладковатый привкус дождевой воды.

Свежий дождик резко щекотал нос, волосы

намокли и липли к лицу. Идти становилось все труднее, одежда прилипла к телу, и Майка начала клацать зубами. Сквозь сизую стену дождя стал просматриваться холм, покрытый сосновым лесом. Она решила добраться до него, переждать дождь под деревом. Метров десять осталось до бора, как она заметила, что под кронами деревьев прячется стадо коров. Майка хотела развернуться, чтобы скрыться незамеченной Назаром, но любопытство перебороло страх. Она затаилась у толстой, приземистой сосны, повела глазами. Назара видно не было. Коровы лежали почти впритирку друг к дружке и, раздувая бока, жевали жвачку. Крупные капли скатывались с сосновых веток, тюкались о парившие коровьи бока. Вдруг Майка почувала запах дыма — тянуло откуда-то из глубины бора. Она метнулась в сумрак леса и снова затаилась за сосной, высматривая. В следующую перебежку она чуть не выскочила к костру — оказывается, он был рядом. Майка спряталась за сосну. Собака почувала ее, ворчала, но хриплый голос Назара осадил:

— Цыц!

Собака все время стригла ушами, приподнималась, принюхивалась, а Назар совершенно ни на что внимания не обращал. Майку холодал озноб от холода и страха, но она даже сама себе объяснить не могла, почему подсматривает за Назаром. Позже, когда пройдет много лет, вспоминая маленький этот кусочек жизни, она поймет, что толкало ее сюда. Это было любопытство взбалмошной, счастливой девчонки перед чем-то совершенно противоположным ее беспечной жизни, ее счастью. Под непрерывным дождем, шумевшим в вершинах сосен, у костерка сидели двое: человек и собака. Оба смотрели на пламя костра. Назар протянул руку и стал палочкой выкатывать из золы картошку, слегка склонив при этом голову набок. Склонила тотчас набок голову и собака — стала следить за движениями хозяина. Назар покатал картошку в руках и стал очищать шкурку. Собака не спускала с картошки глаз. Не глядя, Назар подтащил к себе котомку, долго рылся в ней, вытащил мешочек, видимо, с солью, и краюху хлеба. Хлеб разломил пополам, одну половину положил перед собакой. Она зажала кусок в передних лапах и начала грызть. Майка замерзла и устала, она уже кляла себя за свой поступок. Назар тем временем, не поднимаясь, подбросил в костерок хворосту, нагнулся и стал дуть на угли, кашляя от дыма и вытирая слезящиеся глаза. Собака лениво поднялась, встряхнулась.

— Ну, ты, — сказал ей Назар, — трястись-то отошла бы.

Майку поразил мягкий, домашний голос Назара, который она впервые слышала. И собаку его поняла — молча отошла метра на два и снова встряхнулась.

Майка стала потихоньку отходить от дерева и вдруг, ойкнув от неожиданности, снова спряталась.

Пройдет два месяца, всего только два месяца. Будет день голубой-голубой, с ясным небом и сияющим золотым солнышком, а Майка с опустошенным от горя сердцем будет лежать среди поля лицом вниз и только тогда ясно и отчетливо поймет, что все свалившееся на нее не случайность, что началось оно в дождливый день, когда она подсматривала за Назаром, и что уже тогда неосознанно знала: если и будет она когда-то страдать в жизни, то принесет ей это страдание он, Назар.

А случилось вот что: из-за сосны, у которой сидел Назар, вышел Славка. Вышел и как ни в чем не бывало уселся у костра.

— Принес? — спросил Назар.

— Принес. — Славка стал развязывать узел. — И молока тебе принес. Мирон утром нацедил.

— Охо-хо-хо-хо, — по-старчески захрипел Назар. Он с большим трудом приподнялся и стал укладываться животом на дождевик. — Давай, сынок, терпения нет...

Славка задрал Назару рубаху, полил на поясницу какой-то жидкостью из пузырька и большими своими ладонями принялся растирать спину. Назар слабо и протяжно стонал. С необыкновенным старанием массировал Славка поясницу Назару, а Майка, одеревенев, смотрела широко раскрытыми глазами на необыкновенно красивое лицо Славки (может, красивое от того, что рядом было другое лицо — высохшее и почерневшее, со складками глубоких морщин, с полузакрытыми от боли глазами) и едва сдерживала отвращение. В поселке все знали, что Славку воспитал Назар, и Майка это знала, но никогда не думала, что Славка так любит этого старика.

— Сто раз тебе говорил, — ворчал Славка, — бросай ты мотаться со своими коровами? Привязывать тебя дома, что ли?!

— Мокро седня, вот и скрутило... А так-то, в сухую погоду, терпит... Охо-хо-хо-о... Собачину-то принес?

— Принес...

Славка большой собачьей шкурой обматывал Назару поясницу. Приподняв на руки, уложил его у сосны, накрыл фуфайкой, дождевиком.

— Пот прошиб, полегчает щас, — сказал Назар.

— Лежи, — поднялся Славка, — пойду коров посмотрю.

После того, что увидела Майка, ей так стало тяжело и грустно, а когда подумала, что для Славки, видимо, нет более близкого и дорогого человека, чем Назар, едва не заревела от непонятной обиды.

3

Ночью снова пошел дождь. Крупные увесистые капли дробно били по крыше, шумели, путались в листьях черемухи. По желобу, под скатом крыши, покотился робкий ручеек и тонко зазвенел о дно пустой бочки. На какое-то мгновение Майка проснулась, прислушалась к дождю и снова уснула. Потом она еще раз просыпалась и лежала, уставившись в темноту: слушала, как от сильного прямого потока плещется и вскипает в переполненной бочке вода. В комнате было прохладно — окно она с вечера не закрыла, а теперь не хотелось вставать, да и не было в том необходимости — новое одеяло из пуха, будто лаская ее своей невесомостью, приятно согревало. Хорошо было так лежать в темной комнате и под шум дождя в полудреме думать.

За тонкой досчатой перегородкой в спальне родителей тикали настенные ходики. Тяжело заворочался, закашлял в подушку отец, стал шарить по ящику рукой, наверно, искал махорку.

— Пойду цыпушек закрою, — сказал он матери, все еще кашляя, — да воду из бочки надо в баню наносить.

— Вьюшку в печи задвинь, а то вода опять на шесток набежит, — шепотом попросила мать.

Отец вернулся не скоро. Майка задремала и проснулась от скрипа открывшейся двери и от грохота брезентового дождевика. Дождя уже не было. Светало. Наслаждаясь умиротворенностью наступающего утра, Майка прикрыла глаза.

— К поре дождь, — сказал отец, — грядки по мокро прополоть надо.

— К обеду, — отозвалась мать, стараясь не брякать подойником. Она собиралась идти доить Голубку, — пообветряет пусть.

Майка лежала, слушала обычный разговор своих родителей, не разговор, а скуку сплошную и думала: как им не тошно каждый день говорить об одном и том же и делать одно и то же. Как-то матери сказала она об этом, да еще и добавила, что на месте отца она Назара, который позорит их на всю деревню, давно бы нашла способ заставить замолчать. А отец, как не знаю кто!.. Майка не решилась сказать дальше, потому что Клавдия округлила на нее глаза и испуганно зашептала, обернувшись на дверь:

— Молиться нам надо на отца нашего... Не будь он такой трудолюбивый, аккуратный в деньгах...

— Аккуратный в деньгах?! — простодушно возразила Майка. — Да, мамочка, между нами говоря, он жмот, каких мало!

Клавдия еще больше испугалась:

— На кого он жметя-то? На кого?!

— На меня, на меня!

Клавдия поднесла кончик платка к обидно задержавшимся губам:

— Он для нее цельными днями мунтулит, сгорбился над верстаком, а она ишь как! Мне он деньги копит-то? Мне, спрашиваю?

— Да копите, копите. Люди только смеются. Меня девчонки купчихой зовут.

— Завидуют девчонки, — с облегчением, что заканчивается этот неприятный разговор, вздохнула Клавдия.

Вообще-то Майка отца любила. Когда была маленькой, часто крутилась у него в столярке. Заберется под верстак, зароеется там в пахучие волны стружек и сидит, пока отец не вытащит ее оттуда. Или городище из обрезков на полу строит, или просто нарочно мешает ему — подталкивает и подталкивает в локоть, когда он отфуговывает какую-нибудь доску. Наконец она добьется своего — отец откладывает в сторону фуганок и берет ее на руки. Потрескивает в плите огонь, кипит в старом алюминиевом ковше клей, подмешивая к запаху смолы и свежей древесины аромат яблочного киселя, а она сидит на руках у отца. Это были счастливые минуты. Отец человек молчаливый, но иногда разговаривается:

— Шкаф доделаю, продадим, купим тебе новое платье.

— И туфли, — добавляла Майка.

— Можно и туфли, — соглашался отец.

— И куклу.

— Можно и куклу.

На том разговоры их кончались.

У Майки и ее подружек была такая игра: девчонки становились в ряд, брали друг друга под руки и шли по улице. Когда кто-либо попадал навстречу, они все разом с испуганными лицами впивались глазами в ботинки или сапоги прохожего. Гипноз срабатывал безотказно. Человек останавливался, рассматривал свои ноги, а потом пожимал плечами и шел дальше. Девчонки, ожидая новой жертвы, смеялись до слез.

От ночного дождя улица раскисла, но после консультации по скучной тригонометрии девчонки решили поразвлекаться — поиграть в гляделку. И случилось так, что первыми, кого они увидели, были мальчишки их класса.

— Девчонки! — выкрикнула Галка Сошникова, — строимся!

Мальчишки знали эту игру не хуже. Они тоже выстроились в ряд и бойко двинули навстречу, а сойдясь нос к носу с девчонками, уставились долгим взглядом им на ноги. Галка первая и не выдержала — ее чрезмерно полные ноги не подходили под стандарт современных, и она тут же нашла лазейку прервать игру:

— Почему не были на консультации?! А-а-а-а, — сощурила она глаза, — опять черемуху на Луговине ободрали?! А ну, давайте сюда!

— Сейчас отдали! — начали дурачиться мальчишки и задрали букеты над головой.

Девчонки визжали и пытались отобрать у ребят черемуху. Поднялась такая возня, что в соседних дворах собаки завывали. Только Майка стояла в сторонке. После вчерашней прогулки под дождем у нее разламывалась голова да и самая большая свалка была возле Славы. Господи, что с ней? На нее опять накатило злое желание закричать что есть силы:

— Оставьте его! Оставьте его!

И, чтобы ничего не видеть, она развернулась и побежала домой.

Утром в комнате стало совсем холодно, и Майка пошла закрыть окно. На подоконнике лежали завядшие, обтрепанные черемуховые веточки. Вначале Майка хотела выкинуть их, но ее что-то остановило: она долго смотрела на ветки, потом робко протянула руки, аккуратно сложила их и, прижав к лицу, тихо засмеялась.

4

К десяти часам по реке застучал катер. Майка не глядя узнала: идет колхозный «Лебедь», тащит неводник с доярками. «Лебедь» так тарахтел всеми железяками в моторе, что его нельзя было спутать ни с одной посудинной, проплывающей по реке. Майка отбросила «Историю» на травку, села на бревно и стала махать дояркам рукой. Отсюда, с Луговины, катер было видно хорошо — он шел почти у берега. Всмотриваясь в знакомые лица женщин, она слышала — поют доярки, но из-за грохота мотора песню не разобрать. Ей вдруг стало так радостно, что она засмеялась, сама не зная отчего: оттого ли, что видит этих никогда не унывающих женщин, или что утро такое чистое, или от предчувствия, что вот-вот случится с ней что-то необыкновенное, ей одной предназначенное.

Катер проплывал мимо. Доярки перестали петь и теперь залиристо смеялись, показывали

в ее сторону рукой. Майка недоуменно пожала плечами и хотела обернуться — что они там увидели? В это время чьи-то сильные руки закрыли со спины ей глаза. Она поспешно ухватилась за руки и замерла от захлестнувшей сердце догадки.

— Пусти! — мотнула головой.

Но за спиной молчали, держа ее голову словно в тисках. Майка ни на минуту не сомневалась, что там был Славка.

— Пусти же! Ну, пусти! — пыталась она высвободиться. — Пусти, я занимаюсь! — сказала и сама рассмеялась, потому что «История» лежала на лужку, а она празднично сидела и пялила на доярок глаза.

— А я-то думал, — не упустил момента подсмеяться Славка, усаживаясь рядом, — почему это Майя у нас отличница? Оказывается, она учит денно и ночью.

Майка хотела было обидеться на такую дурацкую шутку, но, косо глянув на усевшегося рядом Славку, вдруг оробела и отодвинулась от него. Славка, встретившись с ней взглядом, тоже заметно смутился и от его смелости не осталось и следа. Майка, слегка откинув голову, вперила взгляд в бесконечность, а Славка взял палочку и стал ковырять в земле. Майку подмывало узнать: случайно здесь Славка или искал ее? После того, как она заметила его смущение, ей стало вдруг спокойно, легко, сковывающая робость исчезла совсем и, украдкой глянув на Славку, она поняла, что он смущен куда больше.

Чтобы разрядить обстановку, Славка сказал:

— Пошел к бабушке в Еловку.

— Через Луговину туда дороги нет, — с легкой издевкой подметила Майка. Ей хотелось, чтобы он объяснил свое присутствие здесь по-другому.

Славка уперся в колени руками, озадаченно нахмурился:

— Вот беда! Я столько лет через Луговину в Еловку хожу. Неужели дорогу убрали?

— Нету там дороги!

— Да я только по ней и хожу! — не отступал Славка.

— Да нету, нету! — выкрикнула она с досадой.

— Идем, покажу! — не сдавался Славка.

— Покажи! — Майка сжала губы и поднялась.

— Только мостов через протоки и старицы нет, я переплываю.

— Не из теста! Переплыву и я!

— А я думал, заботливые родители из тебя в теплице левкой вырастили.

— Сам ты левкой. Пошли, показывай дорогу в Еловку через пойму!

— Ла-а-адно, — сдался Славка, — пошутит я.

— А я — нет!

— Ты что, серьезно думаешь пройти семь километров без дороги?

Майка дернула плечиком, готовно схватила курточку.

Краем реки вилась узкая тропка. Она была влажной и тускло поблескивала от ослепительного солнца. Майка сняла туфли и быстро пошла вперед не оборачиваясь. Славка, приотстав метров на пять, двинул за ней. От босых Майкиных ног на глине оставались узкие следы. Он старался попадать в них ботинками сорок третьего размера. Его вначале забавляло, что он безжалостно уродует своими бахилами ее аккуратные следики, а потом пожалел, когда, оглянувшись, увидел, как вспахал тропинку. Славка стянул ботинки и засучил штанины. Теперь он ступал по следам босыми ногами, и ему казалось, что чувствует подошвой тепло, оставленное Майкой на глине. Почему-то чертовски хорошо от этого стало, и он готов был идти по ее следам куда угодно. Майка, обернувшись, заметила, что Славка топчет ее след. Она удлинила шаг. Удлинил шаг и Славка. Тогда она пошла мелкими шажками, след к следу. Засеменил и он за ней. Войдя в азарт игры, Майка непроизвольно улыбалась, понимая, что имеет над Славкой какую-то власть. А от того, что он подчиняется этой власти, пришло и другое предчувствие, что у нее есть на это право.

До Еловки они брели по полузаболоченному лугу, продирались через кусты, переплывали протоки. А Славка шел в этот бессмысленный поход не только потому, что подчинился Майкиному капризу, а потому, что и ему вдруг захотелось проламываться напрямик к Еловке через заболоченную и поросшую кустами пойму. Он шел напором, помогая Майке выкарабкиваться из кочкарника, перелазить через весенние наносы. Майка изредка смотрела на него и ни разу не увидела на лице и тени недовольства этим дурацким походом, а только азарт да возбуждение в глазах. И от того, что поход этот был ему не в тягость, а в удовольствие, вызывало в Майкином сердце симпатию к Славке. Она упивалась восторгом от его упорства, от его веселой бесшабашности, прекрасно понимая, что на это способна только возвышенная душа, которую больше всего ценила она в людях, ибо сама была душой возвышенной, мечтательной и романтической. И от того, что встретила она в Славке такое понимание, когда без слов можно передать свои мысли, наверняка зная, что он тебя поймет, трогало ее до глубины души и вызывало радость.

Утром Майка соскочила чуть свет, с треском распахнула окно и засмеялась в тишину наступившего утра. Радостно мурлыкая себе под нос, заметалась по комнате, убирая разбросанные с вечера книги, бумаги, тетради, платья... Сегодня везде должен быть порядок, везде должно быть красиво: чтоб день — до солнечной рези в глазах, чтоб в комнате все блестело, чтобы платье на Майке было — глаз не оторвать, чтобы историю она знала назубок. Все должно петь и радоваться от Майкиного счастья. И она поет.

Всего какой-то день назад она мучилась, а сегодня такая ясность. С Лидкой же, к примеру, он не пошел через пойму в Еловку! Давно тлел уголек в сердце Майки, а сейчас — настоящий пожар! Океан вылей — не затушить. А сама она вся... Руки в стороны раскинула, голову высоко подняла, глаза прикрыла, кружится по комнате и поет, поет... Ну просто ласточка, раскрывшая крылья навстречу солнцу.

Только радовалась она недолго. Рубанул по пыльной дороге бич Назара и громом закатилось в комнату:

— Шевелись, пацкуды! Так-перетак!

Майка слабо ойкнула, враз вернувшись с небес на землю, и с глазами, полными слез, кинулась закрывать окно.

Когда Клавдия, выгнав Голубку в стадо, вернулась назад в избу, Майка безудержно ревела, воткнувшись в подушку.

— Господи! — опешила Клавдия, — дочка, что с тобой?

— Ненавижу! Противоза! Фашист!

Клавдия растерялась, поняв, что такая ненависть — к Назару. Постояла одно мгновение и кинулась в кухню мочить полотенце. Через минуту, все еще тяжело всхлипывая, Майка сидела на кровати и говорила:

— Он нарочно, нарочно орет возле нас на всю деревню! А вы с папой, как два ягненка, слова ему не скажете!

— Да бог с ним, с Назаром, — начала Клавдия успокаивать дочь. — Пусть орет, а ты не слушай! Всегда пастухи ругаются.

— Ненавижу!

— Горе у него наружу просится, — вздохнула Клавдия, — одинокий, несчастный...

— Одинокий, несчастный, — передразнила Майка. — Каждый сам виноват в своем несчастье! Сам! — Майка уткнулась матери в грудь. — Мама, до этой весны я терпела его, а сейчас он будто что-то убил во мне. — И она опять тонко заплакала.

Клавдия обняла дочь.

— Не защищаю я его. Жизнь, видишь, у

него не удалась. Кто его знает: всегда ли от самого счастья зависит-то?! — Клавдия смотрела в окно и перебирала на голове у Майки волосы.

— Ненавижу!

Обидно Майке: как это мама, самый близкий, самый дорогой человек, не поймет, что грубой бранью этот несчастный оскорбляет ее высокие чувства? Это же так очевидно, что орет он под окном ей назло!

— Тебе Назара понять трудно...

— Мамочка, — Майка прижалась мокрой щекой к щеке матери, — я же всю историю твоего замужества знаю. Ну что тут особенного, если девушка выбрала другого?! Это же всегда так бывает: полюбит девушка другого — уйдет к другому. Неужели ее силком принуждать жить с нелюбимым? Время-то не то сейчас!

Клавдия потупилась, сказала:

— Может, Назар-то лучше той девушки оказался...

— Мамочка, не надо себя убивать критикой. У тебя с отцом вон как все удачно в жизни сложилось. Вы прожили жизнь душа в душу. Назар тоже мог жениться и по-человечески жить. А он до сих пор издевается над вами.

— Жалеет меня он до сих пор.

— Жалеет! — нахмурилась Майка. — Ты это жалостью называешь? Он же всю жизнь тебе, любимой женщине, в душу плюет!.. Он...

— Замолчи! — крикнула Клавдия и, враз остыв, добавила: — Не надо, Майя, помолчи.

— Молчу. Я и так всегда молчу. Только дрянной он человек, вот и все!

6

В этом году вода поднималась мало, и пойменные луга, что в прошлом году на метр уходили под воду, к концу июня были уже сухими. К выпускному вечеру и сочная травка зеленела на освободившихся от мокроты островках, и ранние цветочки запестрели. По лугу наметились и первые тропки, вытопанные скупой и только по необходимости — к старице или к летнему загону скота. Напрасно траву на лугу не стаптывали, берегли до сенокоса.

В километре от села, где река загибалась полукружьем, сильным напором воды подмытая крутой берег, выпирала к обрыву небольшая Луговина. С одной стороны ее ограничивала старица Лисья курья, с другой — сама Обь. Через курью был перекинут мосток, а за мостком небольшой сосновый островок леса, каким-то чудом оторванный от коренного берега. На Луговине траву не выкашивали, здесь испокон веков справляли праздники, гу-

ляли влюбленные. Сейчас и клуб большой выстроили, а все ж вечера на Луговине милее.

На выпускном вечере Майкин наряд был самый красивый. Славка, увидев ее, легко взбегавшую на высокое крыльцо Дома культуры, даже растерялся. Белое пышное платье с немислимым голубым отливом, лаковые белые туфли, золотой кулон на золотой цепочке... Парни присвистнули:

— Ого!

Девчонки ошарашенно примолкли. Поняв по физиономиям подруг, что она выглядит великолепно, Майка вначале смутилась от их пристального внимания и откровенной зависти, а потом шагнула к ним, предоставив возможность рассмотреть себя внимательнее. В клубе была только торжественная часть. Праздновать все перешли на Луговину. Майка нарочно задержалась подольше в клубе, чтобы проверить, дождется ее Славка или нет. Славка дождался. Она вышла на высокое крыльцо клуба, остановилась на верхней ступеньке и, грациозно протянув вперед руку, милостиво предоставила возможность Славке свести себя вниз. Славка неловко переминался внизу, прикусил губу и молча ждал, когда она сойдет. Вообще-то он знал, что Майка просто дурачится и в другой бы раз он, изобразив из себя рыцаря, взял бы ее за пальчики и провел через все ступеньки, но сегодняшней ее роскошный наряд выбивал его из колеи. Будто не ее, а его угораздило так кричаще вырядиться...

— Попробуй сама, — сказал он, отвернувшись, — может, сойдешь!

— Сама не могу, — слегка прикрыв глаза, кокетничала Майка, — я княжна.

— Бери выше! — совсем рассердился Славка. — Принцесса!

Майка колокольчиком рассмеялась, спорхнула с крыльца, затормозив Славку, капризно протянула:

— Сла-а-авк...

Славка молчал, не поднимая глаз выше кулончика с цепочкой. Где-то в самом-самом дальнем уголке своего сознания Майка чувствовала свое превосходство не только над всеми девчонками класса, но и над Славкой тоже. Не была она ни жадной, ни корыстной — нет. Просто недостаток ее родителей и беззаботное существование невольно толкали ее на это. Она привыкла к мысли, что все завидуют ей и принимала это как должное.

— Сла-а-в, ну Сла-а-в, — она старалась заглянуть ему в глаза. — Ведь сегодня такой праздник! Мы ж теперь — свободные птицы.

Майка раскинула в стороны руки и закружилась, показывая, какие они свободные, а Славка угрюмо смотрел, как легкими плавными волнами поднималось у нее платье, приот-

крывая ноги выше колен. Он еще больше почувствовал в себе скованность.

— Я вот так раскручусь, раскручусь, — говорила Майка, — и улечу... Нет, мы с тобой вместе улетим далеко, далеко...

— Я не еду, Майя, — сказал он, глядя в землю. — Работать буду здесь.

— Тогда и я не поеду! — принесла себя в жертву Майка.

Славка усмехнулся:

— Зачем усложнять себе жизнь? Поезжай, что тебя здесь держит?

— А вот назло тебе — возьму и не поеду!

Славка досадливо поморщился:

— Ладно. Пошли на Луговину.

Пока они шли, Майка немного опомнилась. До нее стало доходить, отчего у Славки плохое настроение. Невольно скользнув взглядом по более чем скромной его одежде, вспомнила вдруг и про плохонький его дом, и то, что у них до этого лета даже коровы не было, что зимой Славка, лишь бы подзаработать денег, встает в пять утра и до школы чистит на Оби проруби... Представила, как он в стареньком своем пальтишке в пургу ли, в мороз ли с пешней и лопатой пробирается к реке... Вспомнила, все вспомнила: даже его глаза, с ненавистью смотревшие на ее кулончик. Краска стыда залила ей лицо. Она ж для него так вырядилась, а вышло как... Господи, стыдно какой! Холодный, дорогой металл словно обруч сдавил ей горло. Когда они шли со Славкой в Еловку, на ней было простенькое платьице, и Славка был такой уверенный в себе, и она, видимо, была для него роднее и желаннее. Сейчас же он с ней почти официален. Майке даже показалось, что он скоро начнет звать ее на «вы». Она не знала, как исправить испорченный вечер, совсем пригорюнилась. А цепь стала давить горло так, что она задохнулась. Надо снять, снять цепь, но замок никак не поддавался, наверно, потому что руки у нее дрожали.

— Зачем снимать? — серьезно спросил Славка. — Надела, так носи. По крайней мере такого ни у кого нет.

У Майки на глазах навернулись слезы. Она со злом рванула цепь и, наверно, сгоряча запустила бы в Обь, да Славка перехватил ее руку, усмехнулся:

— Ненормальная!

Он легко отнял у нее кулон, положил себе в карман. Майке же просто приспичило немедленно освободиться еще и от пышного платья и туфель.

— Пойдем, — потянула она его за руку, — мне надо на минуту домой.

Славка ее понял и улыбнулся такой улыбкой, от которой у Майки останавливалось

сердце, и впервые за весь вечер посмотрел ей в глаза.

Дома Майка с досадой швырнула платье на стул, забросила под шифоньер туфли. Минуту подумала и надела то платье, в котором ходила со Славкой в Еловку. Ей сделалось радостно и от простенького своего наряда, и от того, что она сейчас снова выберется в окно, где ждет Славка, и от того, что ночь еще не кончилась, что все еще можно исправить, а Славка теперь будет самым собой.

Они шли к Луговине, держась за руки. Шли свободно, не скрывая своего счастья, одержимые желанием не разлучаться вообще. И хотя об этом они не говорили друг другу, но так понимали это, что слова вообще могли бы все испортить.

На Луговине веселье было в полном разгаре. На обычном месте горел костер. Такого громадного костра раньше не зажигали. Отблески огня плавилась в тугом напоре обской воды, разламывали не густую еще темноту, плясали на лицах возбужденных и по-особенному красивых девчонок, подмигивали в такт музыки и рвались, рвались куда-то в небесную бездну. Из репродуктора, прикрепленного к березе, разносилось:

Раскудрявый, клен зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной...

Майка схватила Славку за руки, и они понеслись в круг.

Они танцевали, ослепнув от счастья, от ощущения своего бытия, от сознания своей неразлучности, взаимности и предчувствия вечного головокружительного счастья. И хотя вокруг были люди, а из репродуктора не переставая выплескивалась музыка, Майке показалось, что еще никогда не ощущала она такого уединения со Славкой, такой беззаботности, отрешенности от всего и такой надежности от крепких его рук. Она смотрела и смотрела ему в глаза, шепча про себя: «Господи! Господи! За что мне счастье такое?! Как я люблю, как я невыносимо люблю этого человека!»

Лицо Славки расплывалось перед ней, мелькали и мелькали цыганские его глаза. Неслись мимо костер, березы, река, небо, звезды... Она устала от бешеного галопа, задыхалась:

— Не могу, не могу больше!

— Можешь, можешь, можешь... — словно из другого мира доносились Славкины слова, а руки его крепче и крепче сжимали ее.

— Отпусти, отпусти, отпусти... — едва шептала она.

— Никогда, никогда, никогда!

Неутомимая до безмерности жажда быть

вместе так объединяла их в этот вечер, что скоро не только Лида, но и ребята стали недвусмысленно улыбаться, а Светка нашла время, обхватив Майку за шею, шепнула в самое ухо:

— Со свадьбой не тяните. Пока никто не разъехался. Такое на Луговине устроим — весь район ахнет!

В этот вечер Майка несколько раз мельком видела Назара. Его фигура маячила то на мостку через Лисью курью, то на пригорке у сосняка, то почти рядом с ней, когда она кружилась и вообще ничего не могла видеть. Мелькнет Назар на один миг, а потом исчезнет, будто его и не было, а у Майки — холодок под сердцем.

Музыка оборвалась внезапно. Майка вытерла ладонью лоб, покрытый мелкими капельками пота, тяжело перевела дыхание, подняла глаза и тотчас напоролась на тяжелый взгляд Назара. Он стоял за Славкиной спиной, метрах в десяти от них. Майке сделалось неудобно, на некоторое время стерлась радость от тепла Славкиных рук, от горящих огнем его влюбленных глаз.

— Назар! — прошептала она и перестала улыбаться. — Он смотрит на нас!

— На тебя! — уточнил Славка.

— Он ненавидит меня, — зашептала она одними губами, — я ненавижу его... — путалась, не зная, куда себя девать от цепкого взгляда пастуха.

— Назар хороший, — сказал Славка. — Просто ты его не знаешь.

Снова заиграла музыка, и все ринулись в пляс. Подружки нарочно (так хочется смотреть на влюбленных!) стали танцевать вокруг них, локтями подталкивают, подсмеиваются.

— Отстаньте! — нахмурилась Майка.

— Ох, ох, ох, — заохала Светка, — завоображала!

Майка стала проталкиваться сквозь толпу. Девчонки нарочно преграждали ей дорогу, выплясывая и вихляясь перед ней. Она кое-как пробилась к мостку через курью. Холодная лунная дорожка застыла на черной глади воды. Майка остановилась у перильца. Луна ползла низко, крупным белесым шаром. Светлынь от нее была такая, словно лампочки дневного света горели. Трава голубовато светилась, а сосняк на другой стороне курьи совсем темный. Белели доски мостка, белели перильца, внизу вода черная, небо в ослепительных звездах. Майка стоит у перильца в простеньком своем платье и в лунном свете действительно кажется принцессою. Только Славке она не кажется такой недоступной, какой была на крыльце клуба. Она такая род-

ная, и полные ее губки такие зовущие... Он медленно склоняется к Майке, а потом быстро отводит голову, опьянев от теплоты ее влажных губ. Они оба испугались того, что произошло, и оторопело стояли, не сводя глаз друг с друга.

Майка повернулась в сторону костра и увидела Назара.

— Опять он! — тонко выкрикнула она.

Когда Славка обернулся, Назар, почти не хромая, быстро уходил от них, скрываясь во тьме.

Неделю после выпускного вечера Майка со Славкой были неразлучны, а потом на одной из вечеринок на Луговине поссорились. Вернее, даже не поссорились, а просто не поняли друг друга. Славка, никогда не знавший ласкового тепла материнских рук, впервые ощутив на своем лице нежное, словно легкое дыхание ветра, прикосновение Майкиных ладоней, совсем потерялся. Днем он ходил сам не свой, никак не мог дождаться вечера, а дни будто нарочно кто вытягивал.

Она здоровалась с ним молча. Проводила ладонями по щекам от подбородка к вискам, придавливала немножко и держала там руки. Славка в это время прикрывал глаза и не смел шелохнуться, чтобы не выплеснуть того, что его переполняло.

— Майя! — одним дыханием говорил он и старался губами достать ее пальцы, приносившие ему столько трепетной радости.

Майка тоже целый день мучилась в ожидании вечера. Она испытывала такое счастье в ожидании предстоящего вечера, что все остальное отходило куда-то в сторону и оставалось главное: воспоминание о прошлом вечере, ожидание нового. Днями она топталась во дворе, пытаясь помогать матери по хозяйству, но чем бы она ни занималась — полола ли огород, мыла ли пол — вдруг сядет прямо на землю или на вымытые доски и сидит, уставившись куда-нибудь в угол. Клавдия увидит, руками всплеснет:

— Батюшки!..

Майка повернется, посмотрит на мать, засмеется ни с того ни с сего и примется остервенело тпать картошку или мыть пол.

В тот вечер Майка будто предчувствовала недоброе. Началось с того, что Славка опоздал. Прибежал на Луговину запыхавшись, рубашка расхристана, волосы ко лбу прилипли, штаны со следами смолы. (Он уже работал с отчимом в бондарке при рыбозасольне.) Едва переведя дух, пробормотал:

— Прости...

И, сияя счастьем, что видит Майку, стоял покорно, дожидаясь ее приветствия. Майка сама понять не могла, чему возмутилась: то

ли тому, что он примчался к ней на свидание не переодевшись, то ли потому, что опоздал. Разве могут у него быть дела важнее встречи с ней? Если могут, то никакая это не любовь. Она не подняла рук к его лицу для приветствия, и они некоторое время стояли молча. От такой холодной встречи Славка смутился и стал оправдываться:

— Помог дяде Назару крышу починить...

При упоминании о Назаре Майка дернула губками и пошла к мостку через Лисью курью. Обидно: она себе места до вечера не находит, ждет, ждет, и не было случая, чтобы она опоздала или нарочно, как это делают девчонки — опаздывают, а потом друг перед дружкой хвастают, подробно описывая, как бедный влюбленный мучился, а она в это время пряталась за кустом и наслаждалась его мучением. Она считала это если не кокетством, то большой глупостью. Разве можно заставлять любимого человека мучиться в ожидании?! Зачем? Набить себе цену?

Время было позднее. На Луговине, как всегда, горел костер и молодежь танцевала под баян. Играл Валька Стальский. За курью темнели сосны. Майка дошла до сосняка, остановилась, сняла туфли и стала высыпать из них песок. Славка протянул руку и робко поддержал ее за локоть. Он подумал, что не надо бы говорить ей про Назара. Вражда Назара к Скворцовым была очевидна, и Славку это угнетало, пожалуй, не меньше, чем Майку. Неправду же он ей сказать не мог.

Они сели на бревно и долго молчали.

— У тебя Назар на первом месте, — Майка никак не могла успокоиться.

— Крыша прохудилась у него в избушке, — сказал Славка виновато.

— Добренький...

Славка тихо попросил:

— Не говори так. Он мне отец.

— Отец! — иронически скривилась Майка. — Нашел себе папашу!

Славка медленно поднялся, засунул руки в карманы. А Майка, едва глянув на его побледневшее лицо, враз поняла, что брякнула что-то лишнее, но отступить уже не могла. Всякий раз, когда речь заходила про Назара, Майка готова кричать, грубить, делать глупость за глупостью.

— Он ненавидит меня, маму, отца... Он, он нам жизнь отравил, — заговорила она дрожащим голосом.

— А что ж твой отец, — прищурился Славка, — не противится его грубости, а покорно сносит? Его, видно, устраивает это? А может, боится Назара?

— Трусит? — вспыхнула Майка. — Да у него, знаешь, сколько наград?! У него с вой-

ны полная коробка медалей и орден! А Назара твоего ненавижу! Он как фашист!

«Вот оно!» — поняла Майка. Всегда в ней жило предчувствие беды, и она всегда знала, что придет беда от Назара.

— Назар фашист?! — Славка даже задохнулся. — Самн вы...

— Что мы? — Майку, как иголками, кольнуло. — Кто мы?

Славка, сжав губы, молчал.

— Иди к своему Назару! — закричала она. — Растирай ему радикулит!

От неожиданности и нелепости сказанного Славка открыл рот и не мог сказать ни слова. А она повернулась и помчалась от Славки, от того, что случилось, от себя самой...

7

К полудню зной поднялся невыносимый. На этом клочке покоса сгрести осталось немного, а после обеда переходили на другой клин. Клинья были маленькие, и так повелось в селе, что их выкашивали старики, подростки, домохозяйки и доярки, вернувшиеся с дойки. Колхозу — подмога, а пенсионерам и подросткам — одно удовольствие. Повариха готовила суп из баранины, привозили с молокозавода сливки, пекли пышный хлеб...

В обеденный перерыв, пока купались подростки, взрослые степенно обедали, а потом устраивались в тени под кустами подремать. Столы осаждала проворная ребятня. В этот раз, едва все расселись, Валька Стальский дурачась затянул:

— Последний нынешний дене-о-чек Гуляю с вами я, друзья...

Валька еще не знал, куда он будет поступать, но уезжать собирался каждый день. Ему не особенно хотелось ехать: была у него большая любовь к одной девочке (правда, неразделенная), а она оставалась при школе пионервожатой. И хотя родители почти насильно будут выталкивать его в город, чтобы поступил в институт, а Валька будет ходить по селу и говорить, что он нескоро уедет, на самом же деле будет целый год бить баклуши, а через год осенью уйдет в армию.

— А правда, — сказала сентиментальная Лида, — последний раз в жизни мы так собрались. Как вспомню это — прямо не могу. — В голосе у нее даже дрожь пробилась. Она прижала растопыренную ладонь к груди и растроганно покачала головой.

Примолкли, поддавшись настроению Лиды.

— Надо, — сказал Валька, — на этом столе, почерневшем от времени и многолетних коллективных обедов, оставить потомкам свои имена.

— Давайте! — хлопнула в ладоши Светка. — Всех по порядку, кто как сидит!

— Не надо стол ковырять, — сказала Майка. — Нехорошо.

— Вот еще! — фыркнула Светка. — Пиши, Валентин, ее первой!

Светку все дружно поддержали, а Валька стал вырезать на столе: «Майя».

Майка насупилась:

— Сотри! Себя пишете, а меня сотри!

— Смотри-ка, особа какая! — ополчилась Светка. И вдруг ее осенило: — Оставь, Валентин, на столе ее одну. Больше никого не пиши.

Это всем понравилось. Майка потянулась через стол, пытаясь вырвать у Вальки нож, но ребята силой усадили ее обратно и стали держать за руки.

— Подпиши ей еще Славку, — незлобно подсмеиваясь, советовали со всех сторон.

Валька запыхтел, вырезая «Слава».

В другое бы время Майка промолчала, а может, даже посмеялась со всеми вместе, но после того, что произошло в последний вечер у них со Славкой, она совсем потерялась, ополчилась на всех и даже сама не могла понять, что с ней происходит.

Пока Валька вырезал, все бросали остроты по поводу Майки и Славки, конечно, совсем не злобные, а скорее дружеские, и давали Вальке советы подписать «= любовь».

Сыпались и сыпались на Майку намеки и шуточки. Если до ссоры со Славкой она относилась к ним с улыбкой или совсем не обращала внимания, то теперь все остроты в свой адрес принимала, как пытку, как наказание. В деревню даже боязно было выходить — пристальные взгляды и оценивающие: «Эх, ягодка! Хоть сейчас ешь! У Славки губа не дура!» всюду провожали ее. Вроде в таких словах и нет ничего обидного, даже наоборот, вроде восхищаются ею, а у Майки слезы в глазах, будто она вещь какая, и ее все хотят купить, а потому так внимательно приглядываются, прицениваются.

Одного ей хотелось сейчас: выплакаться, выговориться, попросить совета. Даже не совета, а пусть этот человек будет с добрыми-добрыми глазами, с такими глазами, которые понимают все, прощают все, пусть будет в них такая надежная спокойность, сердечное участие в ее судьбе, вера во все доброе; она успокоится и будет знать, что надо ей делать и как вести себя.

В субботу, когда они с Лидой мылись в бане, она хотела поговорить с ней, но та повела себя совсем странно. Она такое брякнула, что Майка с перепугу себе кипятком ногу обварила:

— Скоро со Славкой будешь в баню ходить?

Майка залилась краской стыда и некоторое время, поджав обваренную ногу, беззвучно плакала.

— Ой, ой, надулась! Будто не знаешь, что, когда поженятся, в баню вместе ходят!

— Замолчи! — страдая, попросила Майка.

Поговорила, называется, с лучшей подругой.

8

Славкин отчим развернул такое хозяйство, что соседи только головой качали: повезло Манечке! В это лето Мирон со Славкой начали строить новый дом. После работы они еще часа по три стучали топорами, потом Мирон шел под навес варить ужин, Славка кормил скот, ел на скорую руку и бежал к Назару. С Назаром они занялись шитьем бродней. Славка сучил и смолил дратву, а Назар шил. Они редко перекидывались словами, но сидели подолгу и как никогда чувствовали необходимость быть друг возле друга. Назар ничего не говорил Славке ни о Мироне, ни о Майке — о людях, которые уводили от него последнюю в жизни радость. Славка с благодарностью воспринимал это и старался при Назаре даже намеком не выразить свою любовь к Майке и симпатии к отчиму. После ссоры с Майкой прошло около месяца. Славка ходил несколько раз на Луговину, но она больше на вечерке не появлялась. Он считал себя виновным в этой дурацкой ссоре и чем дольше он не видел Майку, тем больше грызла его вина перед ней.

Что это? Снится ей шепот или ветер шелестит листьями? Сквозь дрему слышит Майка, как ее кто-то зовет. Зовет тихо-тихо, но настойчиво. Она окончатительно просыпается и отрывает от подушки голову.

Вторую ночь приходит к ее дому Славка. Вторую ночь бродит у окон в надежде вызвать Майку на улицу.

— Майя, Майя! — снова словно шелест листьев.

Майка проснулась и не проснулась. В каком-то полузабытье натягивает халатик и, вздрагивая от скрипа половиц, крадется к окну. Она протягивает руки и, здороваясь, проводит по его лицу от подбородка к вискам, потом придавливает ладонями и молчит. Молчит, прикрыв глаза, и Славка, чувствуя, что теряет силу от необычной мягкости и нежности ее прикосновений. Немного очнувшись, он становится одной ногой на завалинку, ловко подхватывает Майку на руки и выносит на улицу. Майка обняла его за шею, прижалась к его лицу и замерла, поняв, что это и есть

тот человек, единственный на всей земле человек, которому можно поведать о своем сокровенном, для которого ее боль — его боль, который поймет ее, и только ему можно рассказать о том, что мучает ее все дни; только он может избавить ее от насмешек и подковырок, которые терпит она целую вечность. Славка не отпускал ее, а все нес и нес, а она, не отрывая своей щеки от его, молчала, но сердце говорило ей, что он слышит, он знает ее беду, и, чувствуя сильные его руки, она начала успокаиваться. Все становилось определенным и ясным. Было только единственное желание: никогда, никогда не отпускать его от себя, чтобы вновь не расстаться, не потерять друг друга.

В тот вечер серебристый свет луны был как никогда ярким, а река как никогда сосредоточенно примолкшей и таинственной.

9

Неделю спустя заявила к Скворцовым неожиданная гостья — Манечка. Такой визит ошеломил Скворцовых. Манечка никогда не была у них и уж если сегодня изволила пожаловать, то явно не просто так. Резко двинув калиткой, она решительно застучала каблучками по доскам к крыльцу. Павел, как обычно, строгал под навесом, Клавдия разливала молоко по кринкам на веранде.

— Я к вам по делу, — сказала Манечка оторопелым Скворцовым.

Клавдия, едва придя в себя от удивления, пригласила в дом.

Манечка села в горнице за круглый стол и нервно забарабанила пальчиками по бархатной скатерти. Клавдия и Павел почему-то сесте не решились.

— С сыном своим я уже говорила, — то-ненько, но решительно провозгласила Манечка и натренированным движением откинула за плечи черные волосы. — Он согласен со мной. Теперь я хочу передать этот разговор вам — родителям Майи. Дело в том... дело в том, что жениться им еще рано...

Клавдия, ойкнув, взялась за сердце:

— Как жениться?! Майя! Майя!

Майка стояла у косяка входной двери на кухню.

— Никто и не собирается жениться! — потрясенная таким разговором, грубо выкрикнула она.

— Девочка, ты пройди, пройди сюда! — Манечка вытянула шейку, стараясь увидеть Майю. Но Майка в горенку не прошла. Тогда Манечка веско сказала: — Девочка, не надо меня обманывать — вся деревня об этом говорит.

— Деревня говорит, — грубила Майка, — и вы тут что попало говорите! А мы со Славой об этом не говорили! Не говорили! Мы просто дружим и все! Неправда, что Слава с вами согласен! Неправда!

— Боже! Какая грубиянка! — потерла тоненькими пальчиками виски Манечка. — В такие годы...

Майка не стала слушать дальше. Она опрометью бросилась в двери, дрожа от возмущения, гнева и стыда.

Чем закончился этот разговор, она не слышала, но одно знала наверняка, что родители ее, с раблепной покорностью выслушав Манечку, словом ее не оскорбили, взглядом не попрекнули за нелепые слова.

Славка на Луговину не пришел. Ей передали, что он уехал на два дня заготавливать клепку. Майка горько улыбнулась, поняв, что отъезд этот не случаен. И впервые за всю свою короткую жизнь всю ночь пролежала, не сомкнув сухих глаз, но никак понять не могла, от чего невыносимо ей: от прихода ли Манечки, от того ли, что Славка уехал или что родители не заступились за нее?

Может, отец искал случая поговорить с дочерью, а может, вышло само по себе — разговор у них состоялся. Был этот разговор первый с отцом, разговор серьезный и после него у Майки на многое открылись глаза.

В тот день с утра упала сильная роса, и, дожидаясь, когда просохнет сено, старики сидели у дымоуров, ребятня барахталась на копешке, девчонки, тараторя наперебой, сидели у стола.

Лукерья Набат — старуха, соседка Сошниковых, пришла позже всех. Злая донельзя. Кабан Сошниковых перерыл у нее в огороде грядку с морковкой. Если бы это было впервые, а то, почитай, через день. Наругалась, накричалась с утра Лукерья, сорвала голос — отправилась на клинья грести сено. Лукерья приткнула к кусту грабли и пошла к дымокуру.

— Галька! — крикнула она усевшись, — скажи матери: если еще раз ваш кабан заберется ко мне на грядки — я ему кипятком голову ошпарю!.. Погибели на вас нет!.. Лета не было, чтобы огород мне не испортили.

— Из-за грядок людям гибель желать! — не выдержала бабка Ульяна, вечный враг Лукерьи. — Ко всем в огороды свиньи лазят! На днях мой телок у Скворцовых капусту потравил — ни Павел, ни Клавдия мне слова не сказали.

— Павлу тому, господи прости, хоть навозом голову обмажь — он промолчит, — подсмеялись сочувствующие Лукерье.

— Побольше бы таких Павлов в дерев-

ню, — отозвались сочувствующие Ульяне. — Привыкли по каждому поводу горло драть. Один хоть умный мужик завелся...

— От таких умных да тихих и жди пакости! Тихая пакость — она злее... Вон они опять Назару «подарочек» готовят.

И примолкли у костра, оглянувшись, не слышит ли Майка. А Майка слышала. И впервые стыд за отца заставил ее съежиться, нагнуть голову, потому что в злых тех словах она слышала правду.

После события, взбудоражившего деревню, когда Павел увел у Назара Клавдию, прошло много лет. За это время были события и позначительнее: война прогромыхала — ушли мужики, да многие и не вернулись; в первый послевоенный год сгорели лошади в конюшне — или специально кто поджег, или от окурка; были и засухи — выжигало поля до черноты... Все было. Притупилась в памяти история женитьбы Назара, привыкли к его выходкам и злым насмешкам над Скворцовыми. Но в эту весну новая волна внимания к Павлу и Назару прокатилась по деревне. В нетерпеливом ожидании развязки разделилась деревня на сочувствующих Павлу и на сочувствующих Назару. Если, к примеру, бабка Ульяна была на стороне Павла — такой сосед и с чертом мог ужиться бы, то враг ее — Лукерья, которую она звала Двухвостка — всем своим дородным существом стояла за Назара. Если Клим Волохин за Назара, то Данил Парфенов был горой за Павла.

Как-то давно уже, лет десять назад, Клим с Назаром крепко выпили и Климу так стало жалко одинокого, забытого всеми Назара, что он решил в тот же вечер пойти к Павлу и рассчитаться с ним как следует. Клим вроде и не удивил Павла своим приходом, хотя до этого здесь ни разу не был. Клим был сильно пьян.

— Значит, так, — сказал он Павлу, — денег мне дай взаймы.

Павел строгал под навесом на верстаке доску. Не отрываясь от работы, сказал, что денег он Климу не даст, потому что тот сильно пьян, а когда протрезвится, то забудет про долг.

— Б-р-р-р, — потряс головой гость, — слушай, секта, когда это Клим што забывал?! Когда?

Павел, не слушая, фуговал доску. Клим толкался у верстака и сильно сопел. Ему и надо было, чтобы Павел не дал денег, чтобы зацепка была подраться. Он, прищурившись, смотрел на сгорбленную спину Павла и постепенно наливался гневом.

— Значит, не дашь?! Значит, не дашь?! — тарабанил он негнушимися пальцами по вер-

стаку. — Падло ты, Пашка, падло из секты.

Павел вроде и не услышал — строгал. Климса совсем заело:

— Слушай, секта, кого ты из себя гнешь?!

Павел перестал строгать, перевернул фуганок, постучал им об верстак, потрогал пальцем нож и отправился в избушку за другой доской. Климса прямо затрясло от ярости. Он еще пуще засопел, сомкнул толстые губы так, что они побелели, рванулся за ним. Павел был гораздо здоровее Климса и при желании мог бы вышвырнуть его за ворота, но почему-то этого не делал. Климсу же до рези в суставах захотелось схватиться с этим молчуном и придавить его так, чтобы он вообще замолчал навеки или заговорил наконец. Он ворвался в избушку, выкатил побелевшие в гневе глаза, руками в косяки двери уперся. Павел не повернул головы на его приход — выбирал нужную доску. Выбрал, не глядя на Климса, пошел к двери, а Климс, внезапно отступив, дал ему дорогу.

Такой странный был Павел, и немногие в деревне понимали его странность. Не понимала до этого вечера и Майка.

После всего, что она услышала на покосе, она не смогла бы больше жить, не выяснив с отцом, что ее мучило.

Павел пришел с работы немного позже обычного. Умылся, поел и пошел под навес к верстаку. Майка — за ним. Она остановилась за его спиной, стояла, молчала. Павел не повернулся к ней, но, видимо, чувствовал присутствие дочери, потому что без дела крутил в руках фуганок, а работу не начинал и не оборачивался к ней.

— Папа! — позвала Майка и, густо покраснев от предстоящего разговора, нагнула голову. — Папа, ты боишься Назара? — спросила и, обомлев, ждала ответа.

Павел долго молчал и долго не оборачивался. Потом отложил в сторону фуганок, снял фартук, сел на чурку и закурил.

— Понятно-о-о, — протянул он, затягиваясь дымом. — Тебе за меня стыдно, значит.

Майке хотелось горячо сказать: нет, нет, я же знаю тебя, я знаю, что ты храбрый, сильный, но почему в деревне болтают?

— Назара, говоришь, боюсь? — Павел откинул в сторону окурки и поднялся, развернул плечи так, что Майке показался он богатырем. — Сравни, дочка, нас с Назаром... А теперь скажи: имею я право задеть хотя единым пальцем человека, которому причинил такое горе в жизни и который много меня слабее?

— Господи, — прижала Майка к груди руки, — да драться и не надо. Просто как-нибудь по-другому отучить его.

— Зачем? — Павел вздохнул и снова сел на чурку. — Я ведь тогда обокрал его по незнанию. Зачем же мне еще раз его обворовать? Пусть он думает, что сильнее меня, храбрее меня. Зачем я буду лишать его этой радости в жизни?

— Странно. — Майка округлила на отца глаза, будто видела его впервые. — Странно...

— Назар хороший человек, — продолжал Павел, — выше всяких орденов ценилась такая преданность на войне. Лучшего друга, чем Назар, я бы и пожелать себе не посмел. Да судьба, видишь, по-другому распорядилась... Ну, а с Манефой... Не нам с ней решать вашу судьбу, а потому и разговора быть не может... Слава, видно, умный парень, и мать, по моему разумению, он обидеть не должен. Не знаю, как у вас с ним получится, но если он действительно любит, то выход найдется. Ты только не пори горячку, не торопи его, а главное — никогда даже намеком не прекни за приход его матери к нам. Пойми, что ему пережить такой стыд перед тобой будет ой как трудно. Труднее, гораздо труднее, чем тебе.

У Майки даже на душе потеплело. И она уже не удивлялась тому, что молчун-отец первый раз заговорил с ней. Видно, необходимость в том настала.

Павел продолжал медленным своим говорком:

— Много обо мне говорят люди, рты всем не закрыть — пусть на здоровье говорят... Тут еще смешнее про себя слышал... Будто, когда я ездил домой в Олекминск, золото секты себе вывез. Вот даже что говорят... А меня, дочка, мать всю жизнь к себе звала — приехать разузнать, что с ней стало. Я будто сейчас слышу, как кричит она: «Павлуша, беги!» На войне даже это снилось. И с войны пришел — война не снилась, а мать снилась. Я ничего не разузнал про нее. С той ночи как в воду канула. Может, выкрал ее Аким, спас, а может... — Павел замолчал.

Жалкой и беспомощной казалась Майка себе против сильного и умного отца. Маленьким и ничтожным было ее горе против пережитого отцом. И не нужно было грубить Манежке, не нужно было на мать и отца злиться. Ах, какая она дура! И ей захотелось быть такой же спокойной и благоразумной, как отец.

Бодрился, бодрился Назар все лето, но радикулит согнул совсем. Отказался коров пасти, за прудом только смотрел. Коня решили ему оставить, чтобы не ускользнул ни один

браконьер. Привык летом Назар к вольной волюшке, к простору луговому, а теперь лежал в своей избушке. Как полегчало, сразу на крыльцо выбрался. Уселся на теплые ступеньки, зажмурился от ослепительного солнца, от ярких летних красок. Долго просидел так, откинув голову к косяку. Потом открыл глаза, видит: стоит перед ним Клавдия. Стоит с сумкой, видно, в магазин ходила. Стоит и молчит.

— Што пришла? — хмыкнул Назар. — Посмотреть, не умер ли? Порадоваться, если умер?

— Что болтаешь-то? Еще поездишь, покричишь...

— Отъездился я, Клавушка, одна дорога теперь меня зовет...

Клавдия поставила на перевернутую бочку сумку, сама рядом на ступеньки села. Жалкий вид был у Назара, такой жалкий, что Клавдия, поглядывая на него, концом платка слезы вытирала.

— Плачешь? — Назар даже не повернул головы. — Я ж еще живой.

— Не про то плачу, — тяжело вздохнула Клавдия.

— Каяться, что ли, пришла? — Назар оживился. — Давай...

— Прости, Назар, меня... Совестью перед тобой мучусь. За Павла из-за денег пошла. Тогда в больнице открыла его сундучок-то — белье ему чистое искала, мешочек черный нашла. Развязала, а там песок желтый. Я в жизни золота не видела, а тут поняла: оно...

— Знал я это... Может, от того и бесился. Зла не держу ни на тебя, ни на Павла.

— Попроведать кто приходит, нет?

— Приходит... Сын приходит, — с легким вызовом в голосе сказал Назар.

Оба примолкли и долго сидели так, думая об одном. Назар потом сказал:

— Какая ж ты все-таки, Клава! Тогда меня предала — к Павлу, к его золоту кинулась, а сейчас Павла предаешь, дескать, из-за золота за него пошла. Што, так за жизнь и не стерпелась, не слюбилась?

— Да нет, Назарушка, по душе он мне.

— А коль по душе, такие речи о нем не веди! Коль бы не по душе был — болтай все, а так... — Назар закашлялся и полез за сигетом. — Он же не знал тогда, что ты сосватана? Знал, нет?

— Не говорила я ему...

— Во-о-о-т, — протянул Назар, — видишь, кто гвоздем-то был?

Клавдии обидно было, что Назар говорит с ней без негодования и укоров. Будто просто так бесился всю жизнь, будто не она была причиной его поломанной судьбы.

— Везучая ты... Везучая... Могла б из-за золота сдуру-то на такого налететь, что жизнь бы кровью плакала. А тут сам чище золота!.. Павел-то, говорю, твой — он почище золота будет...

И все. Назар прикрыл глаза и вроде задремал. Клавдии было тягостно сидеть возле Назара. Но она чувствовала, что нужна ему сейчас, что должна побыть с ним, что молчание его не было отчужденным, он, казалось, отдыхал перед тем, как заговорить снова.

Пока дремал Назар, она прошла по двору, за пригон заглянула. Вон и бревна лежат, приготовленные на новый сруб. Только почернели они от времени и потрескались, а те, что к земле поближе, так совсем погнили и крапивой заросли. Она прислонилась к углу пригона и смотрела на крапиву, на бревна, без слез плакала, но не тому невозвратному, что потеряла, уйдя к Павлу, а по своей навсегда ушедшей молодости. Она долго простояла у пригона, тупо уставившись на полуогнившие бревна от дома, в стенах которого так и не затопилась печка, не зазвенели детские голоса, а когда вернулась назад, Назар все еще недвижно сидел на крыльце и, прикрыв глаза, был спокоен и кроток.

11

Красное солнышко опустилось за речкой на макушки тополей. Через минуту сползло за деревья и ослепительными пятнами выглядывало теперь через листву, будто предупреждало людей: вот я еще немножко подержусь, слабенько посвечу, а потом до утра исчезну. Торопитесь, торопитесь, люди, доделывайте свои дела!

Заторопилась и Клавдия, добирая малину на кусту. И все равно, когда рассыпала ягоду тоненьким слоем в ящички, укладывала на телегу, да брезентом сверху затянула — темнота подоспела. Пришлось поездку в Еловку отложить на завтра. А утром от бессонных ли почей, от переживаний ли голова разболелась. Едва на ногах держалась Клавдия. Но ягода ж не пропадать! Пошла будить Майку:

— Дочка, отвези в Еловку ягоду. В столовую.

Утро было солнечное, теплое. Серко, мерно перебирая тонкими ногами, споро бежал пыльной от сухоты дорогой. За деревней Майка расслабила вожжи, и Серко, постепенно перейдя на шаг, скоро едва плелся в соседнее село. Майка откинулась спиной на ящички, прикрыв глаза, подставила лицо солнцу и думала о том, что через неделю она уже будет в большом незнакомом городе, что осталось всего семь дней быть ей среди родных этих

мест, греться под родным солнышком, дышать родным воздухом... В городе она никогда не была и представляла его себе по фильмам.

Серко, напрягаясь, пошел в гору. Начиная сосновый бор, где весной она подсматривала за Назаром. На вершине холма натянула вожжи, и Серко остановился. Отсюда хорошо видно Еловку. Еловка — старинное село, утопающее в темной зелени хвои. Только высокая белая церковь возвышалась над высокими елями да недавно отстроенная мачта для приема передач по телевидению. По другую сторону холма — село Топольное. В противовес Еловке в Топольном считалось кощунством посадить у своего дома, к примеру, елочку. И не от того, что не нравились ели, а от того, что село свое считали совершенно самостоятельным и подражать Еловке не собирались. Еловка в свою очередь платила тем же. Майке всегда нравилось смотреть отсюда вначале на спокойную, будто придавленную высокими елями Еловку, а потом быстро перевести взгляд на Топольное и почувствовать, как по сердцу пробегает радость от вида светлой, солнечной своей деревни.

Она уже несколько дней не видела Славу, но после разговора с отцом немного утешилась, и ей хотелось только одного — уединения. Но в душе оставались печаль и смутная тревога. А иногда делалось радостно, и ей казалось, что она навсегда избавилась от любовной муки, и жить ей стало легко, легко... Днями она сидела над учебниками — готовилась в институт.

Но, видно, тем ударам, что уготовила в эту весну Майке судьба, не было конца.

Она тихо съехала с холма. Впереди синью блеснул пруд. Солнечные лучи переливались на тихой глади. Майка любила этот пруд и подумала, что надо искупаться и отдохнуть на берегу. От такой мысли блаженство разлилось по телу, будто кожа уже чувствовала ласковую прохладу воды. И надо же так было случиться, что в десяти метрах от пруда ее догнали тополянский мальчишки под предводительством вездесущего Стальского. Они окружили телегу, соскочили с велосипедов на землю. Валька Стальский был неунывающим заводилой и повторял понравившееся из литературы: «жить надо смеясь». Приблизительно он так и жил. Ничего серьезного за семнадцать лет не накопилось в его беспечной голове.

— Мы едем, едем, едем в далекие края... — пропел он и, уцепившись за телегу, ловко подпрыгнув, уселся к Майке впритирку. — Красивая соседка, веселые друзья. — Развел руками на мальчишек, которые уже набивали

рот ягодой. — Разрешите, Майя Павловна, угоститься ягодкой?

— Угощайтесь, — сказала Майка и отвернулась от Стальского.

— Мы не в духе? — интересовался Валька, подкидывая ягоду за ягодой в воздух и ловя их широко раскрытым ртом. — И что это нас в последнее время так волнует? А, Майя Павловна? Что-то мы грустные... Вой, вой, вой, как губки надули!..

Майка почувствовала, как у нее загорелось лицо краской стыда. Может, Стальский и не намекал ни на что, а как обычно болтал, что в голову взбредет, но она сегодня слышала в его словах другое. Первое и сильное желание было столкнуть его с телеги и пустить коня галопом, чтобы не видеть этой смеющейся физиономии. Однако она вовремя вспомнила благоразумное наставление отца — не пороть горячку, нашла силы сдержаться себя.

— Во, во, — говорил Стальский, запрокинув голову и раздавливая малинку над раскрытым ртом, — глянь-ка, капля кровяная, кровью, кровью малина плачет, а мы ее пожираем... Вон уже и в ящиках дно видно... Эй, вы там! Пореже нельзя таскать? Кинулись на дармовщинку!

Мальчишки ели малину и дружно хохотали от каждого слова Вальки. А Майка не смотрела на ящики. Она смотрела в пруд, к которому, хромя, шел Назар. Лошадь он вел в поводу.

— Приперся, черт хромой, — сказал Валька, — теперь рыбалка откладывается на неопределенное время... Ну ниче — поедим пока малины...

Назар разнуздан лошадь, привязал поводья к седлу и пустил ее пастись. Сам уселся на бережку пруда и стал поглядывать на канитель возле брички. Майке даже показалось, что она несколько раз встретилась с его взглядом. Майке стало душно, и она одержима была одним желанием: немедленно уехать отсюда. Но телега была облеплена велосипедными и мальчишками, которые не столько ели, сколько просто дурачились и все безудержно смеялись над остротами Вальки. Майка почувствовала себя обиженной, но, помня наказ отца, едва сдерживала себя, чтобы опять не наругать, не вспылить.

— Ты куда везешь ягоду-то? — смеялся Валька.

— Никуда.

— Че злая-то?

Вокруг телеги стоял хохот. Мальчишки заставляли игру. Они кидали малину высоко в воздух, а потом ловили кто ртом, кто ухо подставляя, а кто нос — им было ужасно смешно.

но. Перед таким бесстыдным издевательством Майка даже растерялась.

— Дак куда малину везешь? — допытывался Стальский.

— На свадьбу! — выкрикнул кто-то из мальчишек. — У нее же свадьба скоро! Ха-ха-ха...

— Охо-хо-хо-хо!..

Мальчишки давились от смеха.

Майку словно кипятком ошпарили. Забыв про наказ отца о благоразумности, она вскочила на телеге, длинной вожжой, сколько было сил,хватила куда пришлось и, не помня себя, закричала:

— На свадьбу! На свадьбу везу!

Добрый конь с перепугу с места взял в галоп, велосипеды посыпались в стороны.

— Слышь, заполошная, ягоду не просыпь! — хохотал во все горло Валька. — Ну и дуру же Славка себе подхватил!

А Майка, вдруг зло засмеявшись, бросила мальчишкам под ноги ящик с малиной:

— Угощайтесь!

Брызнув красным соком, малина раскатилась по пыльной дороге. Конь шел галопом.

— На свадьбу! — кричала, давясь слезами, Майка. — На свадьбу! На свадьбу! — будто заклинило, будто других слов не было

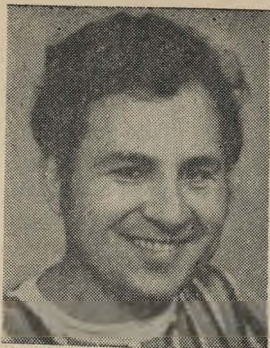
у нее. Да она и не понимала смысла этих слов сейчас. Телега прыгала на выбоинах, ягода примялась, и вытекал сок, брызгая красными капельками. Она не видела, как, хромяя, бежал Назар к лошади, не слышала, как кричал он на ребят:

— Што делаете? Пацкуды! Так-перетак!

Не видела, как тяжело кряхтя от неперестающей ныть поясницы, он завалился в седло и крупной рысью направил старую свою клячу в Топольное.

Может, Серко с перепугу сам завернул на пшеничное поле, может, Майка плохо управляла вожжами, но скоро колеса, проваливаясь в пахоту, затормозили бег, и Майка, выпрыгнув из телеги, упала лицом вниз. Долго в полузабытье лежала она, потеряв ощущение времени, обессилев от пережитой вспышки. А когда пришла в себя, то ощутила во всем теле странную пустоту. Будто ее только что обокрали или она потеряла что-то невозвратное. Серко, фыркая, поедая колосья наливающейся пшеницы, назойливо жужжала пчела и лезла к опухшему лицу, а щекой Майка ощущала теплую-теплую землю... Некоторое время она еще лежала так, потом приподнялась и застыла в недоумении: переливаясь под солнцем зеркальными зайчиками, стоял у телеги Славкин велосипед.

Электронная библиотека



По профессии Владимир Николаевич — инженер-конструктор, но известен и как художник. Его сатирические рисунки публиковались на страницах «Алтайской правды». Пишет короткие рассказы. В альманахе публикуется впервые. Член Барнаульской литературной студии.

Владимир БРОВКИН

ОЛЕКМА

РАССКАЗ

Кто бы только знал, как неохота идти Сережке домой. И неохота не потому, что в дневнике у него две крупные головастые двойки, а потому, что дома неуютно, неприятливо и тоскливо.

А неуютно и тоскливо в доме потому: мать с отцом снова вот уже как с полгода что-то не ладят. Ходят злые, дерганые. Отец снова часто не ночует дома. Когда отца нет дома, мать злая-презлая. К ней тогда и близко не подходи. Когда отец дома — тут она мгновенно меняется, начинает напоказ отцу прямо-таки перед Сережкой на цыпочках ходить: «Сереженька, сыночек, миленький». Сережку от этого аж передергивает.

А вчера мать стала на отца кричать, топтать ногами и швырять со стола тарелки. Сережка спрятался в туалет, сидел и слушал, что происходит в комнате. Там побегали соседи, стали грозиться вызвать милицию.

Потом они ушли.

Хлопнув дверь, вышел отец. И все стихло. Только капала в раковине вода.

— Сережа, Сережа, — через некоторое время стала звать его мать.

Сережка не отвечал.

Мать тихонько стукнула в дверь, а затем стала уговаривать его открыть. Сережка долго не отвечал. Но потом все же открыл.

Мать зывела его из туалета и с дрожью в голосе стала жалеть и успокаивать да гово-

рить, что скоро будет все хорошо, что они будут жить одни, спокойно — без этого идиота.

Сережка удивлялся: почему она его так называет? Отец никогда не шумел, не ругался, не дрался. Даже когда мать покрикивала на отца (а покрикивала она частенько), он только отшучивался либо улыбался. А в последнее время отец словно воды в рот набрал.

Отец любил Сережку, и Сережка любил отца. Когда в доме был мир, отец читал ему книжки, делал разные забавные игрушки. Они втроем гуляли по городу, смотрели зверей в зоопарке, Сережка катался на карусели. Он, довольный, сидел на коне, а мать с отцом кричали ему, чтобы он крепче держался. Ему покупали тогда необыкновенно вкусное шоколадное мороженое, вкуснее которого он больше не знал ничего на свете. А еще они вместе с отцом в том же парке на пруду катались на лодке. Отец греб веслами, и они долго плавали от одного берега к другому.

Тогда в доме было весело и хорошо. Отец с матерью жили дружно — были всегда довольными и веселыми, не то что теперь.

Только все это было уже давно. Вот уже третий год между матерью и отцом нет никакого мира. Что между ними случилось — не может понять Сережа. Стали мать с отцом словно чужие; друг дружки сторонятся. И сам Сережка между ними как чужой. Не знает, к какому боку прислониться. Мать, так та чуть что — истерику закатывает. Начинает кричать на отца, что он подлец, дурак и эгоист, что он ей и ребенку всю жизнь изгубил. Потом рыдает. Успокоившись, начинает жалеть Сережку. У нее стало привычкой — после каждой ссоры с отцом жалеть его, а Сережке это не нравится. «Лучше бы отлупила», — думает он.

Сережка стал злым: ершист, не дотронешься. Положишь руку на голову, чтобы погладить — вздрогнет, передернется, зло глазами зыркнет, чего, мол, еще надо. Учиться стал из рук вон плохо.

Когда нет матери, отец тихонько прижимает его к себе, молчит, тяжело вздыхает и лишь изредка дрожащим голосом задает односложные вопросы.

— Пап, а пап, — просит отца Сережка, — помириться с мамкой, не ругайтесь больше. А, пап?

Отец гладит его по голове, проглатывает в горле ком, и глаза его влажнеют.

После уроков Сережка долго шатается по улицам. Подпарился к ребяташкам из четвертого класса. Те его мерить лужи заставили; он подскользнулся, чуть было не упал. А те большие, тем смешно, рады его нарочно в воду

затолкать. Посмеялись над ним и пошли дальше своей дорогой. А он остался один.

— Ну и черт с вами, — думает Сережка.

Хотел было податься на заводской стадион, да только на улице холодно да и сапоги мокрые насквозь.

— Дай, — думает, — пойду к деду с бабушкой.

Бабка вяжет носок. Дед по привычке на диванчике лежит, смотрит телевизор.

— Батюшки! — встречает его бабушка, — да где же ты эдак устряпался?

«Так и знал, — думает Сережка, — все снова, хоть не приходи. Щас заведется». Однако молчит.

— Откуда идешь-то? Со школы, что ли?

— Нет!

— Дома, что ли, был?

— Был.

— А портфель?

— А я у вас ночевать сегодня буду.

— Ну, давай раздевайся. Есть-то хочешь?

— Хочу.

Бабка сажает его за стол, наливает суп, чай, ставит банку с вареньем. Сережка ест, даже за ушами трещит.

— Как хоть учишься-то? — спрашивает его дед.

— Хорошо, — мычит Сережка.

— Хоть бы дневник принес, — встречает бабушка.

— Да ты там ничего не поймешь! Ты же читать не умеешь.

— Да уж как-нибудь двойки-то разберу. Поди, не глупая.

— У нас дневники учительница на проверку собрала, — врет Сережка.

— Ты гляди-ка! В прошлый раз тоже на проверку собрала. Что-то часто она их у вас собирает.

Однако дневник бабушку занимает мало. Ей другое интересно.

— Мать-то дома?

— Дома.

— Что делает?

— Не знаю.

— Да как же не знаешь? Только что из дому, и не знаешь?

— Ну, не знаю и все.

— А отец?

— Нет его дома.

— Ну вот, видишь, дед, снова где-то блудит, как скотинка безрогая. Вот мучитель-то навязался.

— Да будет тебе, — обрывает ее дед.

— Что будет, что будет? Тебе бы только все лежать да в телевизор глаза пялить.

Дед молчит.

— Как это так, — бурдит под нос бабушка, —

дома был, а чем мать занимается, не знает?

«Вот заладила свое», — думает Сережка.

— Ты, поди, дома-то не был? — переспрашивает она его.

— Да не был, не был! Отстань! — морщит лоб, злится Сережка. — Вот заладила: не был, не был.

— А где же ты тогда мотался?

— Да нигде не мотался.

— Эко, и не стыдно бабуку с бабушкой обманывать? А ведь вон уже какой дурак большой вырос. Только бы нафулюганить, напакостить да обмануть.

Сидит Сережка, отмалчивается. «Зря пришел, — думает. — Бабушка теперь весь вечер будет ворчать».

Но тут он замечает на стене новую карту страны, поблескивающую пленкой.

— Деда, а деда, купил, да?

— Купил, — говорит бабушка, — целых рубль сорок отвалил. Деньги, видишь ли, куда девать не знает.

Но Сережка бабуку не слушает. Он подходит к карте. Новенькая, красочная, блестящая — пахнет чем-то необычным. На этом месте старая висела, карта области, да ту порвали, когда белили.

— Деда, а деда, ты смотри, Веснянск есть.

— А как же, все должно быть пропечатано. На то она и карта. Ты, внучек, посмотри, есть ли там город Кубасовка.

Сережка долго ищет.

— Вот, есть! — радостно сообщает он деду.

— А деревни там нашей, Платоновки нет?

— Щас, — Сережка долго ищет. — Нет, нету.

— Не может быть, большая деревня была. Поищи получше.

— Да нет, нету!

— Да как же это так? Значит, пропустили. Ну-ка, посмотри тогда Капустинское — рядом село с нами было. То должно быть. Оно чуток побольше нашего.

— А вчера отец дома был или нет? — опять про свое бабушка.

— Да был! — отвечает Сережка.

— Не злой хоть?

— Не злой.

— А ты чего так отвечаешь? В отца, что ли, весь удался? Когда спрашивают, так отвечай.

— А посмотри Мухино, — снова просит Сережку дед.

— Да пошел ты со своей картой, дед! — взрывается бабушка. — Затрепался. Как дите малое. Выкину я ее, эту карту — развесил тут паутину разводить. — И уже Сережке: — А, случаем, не пьяный был, отец-то?

— Нет, не пьяный, — отвечает и снова смотрит на карту, смотрит на ее яркую, глянцевою поверхность.

Читает вслух:

— Хатанга, Витим, Андерма, Оленек, Олекма.

— Олекма, — хмыкает Сережка. Название его развеселило. — Деда, смотри, Олекма. Ну и чудное же название. Правда же?

— Ага, — соглашается дед. — У нас таких и близко не было. Это где-то, видимо, далеко.

Он приподнимается с дивана:

— А хочешь, я ее тебе отдам? Карту-то?

Сережка улыбается. Дед встает, снимает карту и, скрутив трубкой, перевязывает ниткой:

— Вот бери, изучай. Вырастешь большой, все пообъездишь, что тут нарисовано.

Сережка усаживается за стол и смотрит с дедом телевизор.

— Так ты, значит, дома-то и не был, — снова про свое бабка.

— Да сказано — не был.

— А мать там, поди, с ума сходит. С отцом на пару совсем от рук отбились. Мать-то ведь замаялась с вами.

Сережка, нахмурив лоб, молчит.

— Че губы-то надул?

— Ничего, — бычится Сережка.

— Ишь, ниче. Бык мирской и бык мирской. Мать-то жалеть немного надо. А ты ее ни-сколечко не жалеешь.

— Отвяжись! — зло сверкнув глазами, выкрикивает Сережка.

— Че-че сказал? Ну-ка повтори.

— А ничего, — Сережка вылезает из-за стола и начинает собираться.

— Бессовестный, — продолжает бабка, — ни стыда, ни совести. Разве так можно на бабушку? Ну-ка стой. Это куда ты засобирался?

— Никуда! Домой пойду. Не буду я у вас ночевать.

— Как это так не будешь?

— А вот не буду.

— Ну, смотри, твое дело. Ишь, волчонок и волчонок растет. Слова не скажи, сразу же выпрягается. Вали, раз такой добрый.

Сережка одевается.

— Дед, отведи-ка его, да глянь, что там у них делается.

— Да ну их к черту! Они уже нас вконец замучили. Ни себе, ни нам покоя. И парнишке тоже самое. Не пойду!

— Давай иди-иди, бока-то, небось, отлежал уже. Не переломишься, если шаг сделаешь лишний. Проводи хоть до угла, если лень в дом зайти.

Дед встает, одевается:

— Ну что, Сережа, пойдём?

— Пойдем.

— А что же ты карту-то не взял?

— Да не надо, — хмурится Сережка, — зачем она мне.

— Как зачем? Бери, бери, — и сует сверток с картой ему в руки.

— Да не надо, деда, да потом...

— Ну, ладно, потом так потом.

Дед провожает его до угла магазина.

— Сам-то дальше дойдешь?

— Да дойду.

— Ну, до свидания.

— До свидания, — отвечает Сережка.

Идет Сережка домой. Только кто бы знал, как это ему неохота. Еле-еле волочит он ноги, мнет промокшими сапогами одинокие, колкие звездочки в подстывших лужах, не по-детски морщит лоб да хмурит брови, а губы сами шепчут:

— Хатанга, Витим, Андерма, Оленек, Олекма... Хм, Олекма, — хлюпает Сережка, вспоминая веселое название, и кривит в горькой усмешке губы.



Иван Лебедев — педагог по образованию, работает директором бийской школы № 34. Его рассказы печатались в альманахе «Алтай», в коллективных сборниках. Член Бийского городского литературного объединения.

Иван ЛЕБЕДЕВ

ЖЕРНОВА

РАССКАЗ

1

В редакции меня почему-то считали специалистом по животноводству, хотя мне больше нравилось писать о механизаторах. И когда редактор вызвал меня в свой кабинет, сердце мое тоскливо сжалось: опять к дояркам пошлет.

Редактора звали Николай Семенович Серов. На людях я так к нему и обращался, а наедине звал просто Серым. Дело в том, что с Николаем мы учились в одной группе института да и были оба безнадежными холостяками. Нет, не теми, которые разочаровались в семейной жизни. Мы просто никогда не женились. Согласитесь, что для сорокалетних в наше время — это довольно уникальное явление.

— Знаешь, Серый, по-моему у нас не осталось ни одной сколько-нибудь заметной доярки, о которой бы я не писал...

— Ошибаешься. Есть такое сельцо — Кедровка. И вот там уходит на пенсию Наталья Бунчук. Ее представили к награде. Все-таки тридцать пять лет проработала...

При упоминании о Кедровке мне сразу представились косматые горы, речушка, рас-

секающая ромашковый луг, веселое солнце. В Кедровке я провел свое детство.

Вспомнилась история, связанная с именем Натальи Бунчук, история, в которой я еще босоногим мальчишкой принял участие и которая мне не до конца была известна.

2

Несмотря на десятки похоронок, выпавших на Кедровку, после войны с фронта стали возвращаться солдаты: не всех война перемолола.

Мы, ребяташки, любили, когда какой-нибудь солдат спрыгивал с попутного грузовика, забрасывал за спину походный мешок и, встав посреди дороги, трясущимися руками сворачивал папиросу. Мы, обступив солдата, смотрели, как сыплется из-под его пальцев махорка, прикидывая, чей же это отец: за четыре года стерлись в нашей памяти лица отцов, несмотря на то, что ждали мы их возвращения каждый день.

Солдаты казались нам похожими друг на друга.

Мы, выжидая, молчали. А из какого-нибудь переулка раздавался женский крик, и на дорогу выбегали женщины, и каждая из-под руки с надеждой присматривалась издали к солдату, боясь обмануться. Из всех собравшихся только одной везло, и она, ослабевшая, бесчувственная от счастья, висла на плечах мужа или сына.

Женщины расходились по домам, а мы провожали солдата до самого дома, рассаживались по пряслам, ждали, когда нас позовут в избу или солдат выйдет на крыльцо с пригоршней сухарей или кусочков сахара. Особенно нам нравилось, когда солдат при нас извлекал из мешка разные вещи. Кроме сухарей, сахара и жестяных банок, в мешке могли быть платки, губная гармошка, а то и блестящий аккордеон.

Разговоров хватало, пока не возвращался еще какой-нибудь солдат.

Корней Зубарев пришел в деревню пешком, под вечер, без солдатского мешка. И, может быть, потому, что не слышно было шума машины, его не вышел встречать никто, только стайка ребяташек проводила его до заколоченной избы.

Маленький, худой, в замасленном ватнике, в выцветшей пилотке без звезды, Корней сел на ступеньки крыльца, опустил темное, с жидкой русой бороденкой лицо меж колен, закашлялся, потом поднял на нас влажные, будто только что вымытые светло-синие глаза и глухо спросил:

— Где мать?

Мы молчали, опустив головы.

Кто-то постарше обронил:

— Умерла Макеевна...

— Когда?..

Вопрос оказался трудным: два-три года назад — это для нас была седая древность, так как старшему из нашей стайки едва минуло восемь. Лешка Сметанников нашелся первым, повторив чьи-то слова:

— А вот когда Витяшка родился, тогда и Макеевна умерла.

Корней посмотрел на двухлетнего карапуза, стоявшего среди нас, тяжело поднялся, вынул пробой из двери, вошел в свою избу.

Дня три он не выходил из избы, соседки уж забеспокоились: не умер ли? Но Корней лежал на кровати, кашлял и грыз довоенные сухари, найденные им в кладовой.

Вскоре он исчез. Так я бы его больше и не встретил, если бы не Наталья Бунчук, жена хромого кузнеца Антона, мать Витяшки.

Нередко после купания, разомлевшие от жары, голодные до головокружения, мы забегали на ферму, и Наталья Бунчук угощала нас молоком, простоквашей или сливками, что было у нее под руками.

Ко мне она относилась с подчеркнутым вниманием, может быть, потому, что я был выше всех ростом в нашей компании и выглядел старше своих сверстников, а может, потому, что мы были соседями.

Как-то поздним вечером, когда по всей деревне еще дымились костры, — варилась первая подкопанная картошка — Наталья зашла в нашу ограду, поговорила о каких-то пустяках с моей матерью и, дождавшись, когда та уйдет в избу, присела рядом со мной у костра. Мне Наталья нравилась: маленькая и быстрая, улыбчивая и не ворчливая. В своих детских снах я спасал ее от разбойников, дарил цветастые, как у проезжих цыганок, платки, объяснялся в любви. Мне всегда хотелось потрогать ее длинные волосы, будто хорошо вычесанный и выгоревший на солнце лен; темно-матовый оттенок придавал волосам тяжесть, и они будто приклеивались к ее плечам, даже ветер не мог разбросать их. Ее сверстницы казались нам взрослыми, почти старыми, а Наталья, несмотря на то, что ее двухлетний сынишка постоянно играл с нами, воспринималась чуть старше нас. Может быть, нас вводил в заблуждение ее озорно вздернутый носик, по бокам которого зрели мелкие, как маковые зернышки, веснушки?

— Сереж... — тихонько спросила она, — ты бывал на Вышке? — Голос ее прозвучал доверительно и таинственно, и я невольно придвинулся к Наталье.

Вышка — это самая высокая гора в нашей

тайге, до нее было километров пять, и я естественно не успел побывать там. Но признаться в этом не хотелось, и я, приврав, ответил:

— Немножко не дошел, когда хайрюзов на Каменушке ловили.

— Нужно сходить туда, отнести Корнею картошку...

— А сама-то боишься, что ли?

— Нет, не боюсь... Но мне с Корнеем встречаться нельзя.

— Почему?

— Ты сейчас не поймешь... Когда вырастешь — расскажу...

Одному мне было страшновато идти в такую глухомань.

— А можно мы с Лешкой Сметанниковым сходим? — спросил я.

Наталья Бунчук взяла с нас честное слово, что мы не расскажем об этом никому, пока не вырастем.

Сохранить тайну от соседей — было понятно. По словам соседок, до войны Корней «женихался» с Натальей, но зачем скрывать от Корнея, что продукты прислала Наталья?

Еще она нарвала листьев подорожника и, будто от моей матери, наказала Корнею делать настой и пить.

Корней встретил нас вопросом:

— А это откуда взялась мелочь голопузая? — Но по его просветлевшему лицу было видно, что он доволен нашим приходом.

— Никакая мы не мелочь, задание председателя выполняем, вот он тут тебе всего прислал...

— Показывайте, чем пожаловал меня Матвейч, — потирая худые руки, сказал Корней, — а то у меня пшеницо на исходе, хайрюзиками пробавляюсь да лесным медом.

Я протянул Корнею холщовую сумку, где была картошка, огурцы, лук, хлеб, большая бутылка молока, заткнутая кукурузным початком.

— Колхоз ни лука, ни огурцов не садит, — подозрительно сказал он, выкладывая содержимое сумки на широкий пень, служивший ему столом.

Вопрос этот застал меня врасплох, но Лешка сообразил и грубовато бухнул:

— А что, у Матвейча своего огорода нет, что ли? У него знаешь, какие огурцы? Скорее всех поспевают...

Я передал Корнею подорожник.

— Вот за это спасибо... Добрая душа у твоей матери... А то забил меня кашель на смерть... Боюсь, что работу не успею закончить.

Потом он показывал нам свое хозяйство. На берегу ручья стоял небольшой, покрытый

пихтовым лапником, шалаш, на колу сохла корчажка из тальниковых прутьев, над потухшим костром висело закопченное ведро. На пригорке, под пихтой, лежали два огромных серых камня, около которых валялись разных размеров молотки и зубила.

— Жернова будут, — поглаживая шершавые бока камней, сказал Корней, — на всю Кедровку муки намелют, а может, и из других деревень мужики будут приезжать... Камень добрый, на сто лет хватит... А теперь давайте полдничать. Проголодались, поди?

— Не-е, — неуверенно протянули мы.

Нам трудно было поверить рассказам женщин, что до войны Корней Зубарев был красавец хоть куда, кудрявый, стройный, ловкий, ни одна добрая гулянка не обходилась без Корнеевой гармошки.

Впрочем, о Корнее говорили мало, вполголоса, с недомолвками. Слово «плен», сказанное полупшепотом и как-то украдкой, производило на нас зловещее впечатление.

Теперь перед нами сидел тщедушный человек с редкими волосами, сквозь которые проглядывала желтая кожа, с жиденькой нечесаной бородкой. И непонятно, сколько ему было лет: тридцать? Сорок? А может быть, он был старше нашего деда Федота?

— Дядя Корней, расскажи про войну, — осипшим от купания в холодной воде голосом попросил Лешка Сметанников.

Светло-синие глаза Корнея потемнели.

— Страшная это штука — война, — сказал он, попивая молоко из бутылки. — Одним словом, разорение и надругательство над жизнью... Я вас лучше медом угощу. Для меня тут леший пасеку приспособил. Только в шалаше спрячьтесь, а то он не любит, когда пользуются его хозяйством.

Немного испуганные, мы юркнули в шалаш. Но любопытство взяло верх, и мы, проделав дырочку в крыше шалаша, стали наблюдать за Корнеем. А он надел на голову мешок, поправил прорези для глаз и к поясу, где в ножнах висел нож, прицепил ведро, предварительно сполоснув его в ручье, потом ловко, как кошка, полез на высокое, сухое, без вершины дерево.

Сразу же вокруг его головы залетали пчелы, их становилось все больше и больше, до нас доносилось их сердитое гуденье. А Корней отковырнул кору от дерева, нарезал золотистых медовых сотов, опустил их в ведро, снова поставил заглушку на место, быстро спустился на землю и, пригнувшись, через кусты бросился к ручью.

Вернулся он, умытый, веселый.

— Лакомьтесь... Ничего нет вкуснее лесного меда. А пчел не бойтесь, я их отвел, да в

ручье поплескался, вот они меня и потеряли...

После чая мы помогали Корнею обрабатывать камни. Нудное и тяжелое это дело. Помнится, сколько мы ни стучали по камню — крохи не могли отколоть, а Корней за это время целую пригоршню осколков наколот. Ловко это у него получалось...

Наталью Бунчук мы нашли в условленном месте и немало удивились, что эта общительная, веселая женщина была заревана.

Вскоре наша семья, не дождавшись отца с фронта, уехала жить в город, к брату матери, и я так и не узнал конца истории. При расставании Лешка Сметанников обещал носить Корнею продукты, но сдержал ли он свое слово, не знаю.

Писем друг другу мы не писали по вполне понятным причинам: закончили мы тогда только первый класс.

3

Странное чувство овладело мной, когда я подъезжал к Кедровке, будто возвращался в детство, в те тридцать с лишним лет назад.

Та же дорога вилась вдоль Камёнушки, заросшей тальником, осокой, те же небыстрые прозрачные струи шевелили темно-коричневые водоросли, те же горы, оцетинившиеся осинником да пихтачом. И, как крыша, возвышалась над ними гора Вышка с разбитым молнией кедром на самой вершине. А от медового запаха, ударившего через открытое окно «Жигулей» с ромашкового луга, у меня защемило сердце. Подумалось, что выбегут мне навстречу босоногие приятели с облупившимися носами, поведут на затаенные речные омуты, наперебой расспрашивая о том, где я был и что видел. И будто пахнуло на меня дымом костров, в которых мы когда-то пекли картошку.

Но костров не было. И дыма не было. Было село, большое, незнакомое, вобравшее в себя несколько мелких деревенок, раскиданных некогда по логам. В центре стояло с десяток двухэтажных кирпичных зданий, над которыми возвышалась водонапорная башня и черная труба котельной, а по берегу Камёнушки растянулись скотные дворы под шифером. В общем-то пейзаж современной деревни. Далекий от моего детства.

4

Итак, надо встретиться с руководством колхоза, задать несколько стереотипных вопросов, взять цифры, факты, ну и конечно побеседовать с самой Натальей. Потом побродить по селу, найти две-три детали, по

которым читатель смог бы составить представление о Кедровке.

Припомнилось, с каким восторгом во время босоногого детства встречали мы каждый грузовик, проезжавший через нашу деревню, рассматривали узоры, оставленные шинами, а иные даже коллекционировали эти узоры, аккуратно вырезая брусочки из затвердевшей грязи. А теперь ни мои «Жигули», ни я сам не вызвали особого интереса даже у мальчишек.

Председатель колхоза, мужчина лет тридцати, с интеллигентным, слегка загорелым лицом, с густыми, пушистыми волосами, пригласил меня за длинный полированный стол и сказал:

— С цифрами у нас хорошо.

Нажав на клавишу селектора, распорядился принести необходимые данные, потом начал жаловаться на нехватку запасных частей, рабочих рук, изучающе поглядывая на меня, будто прикидывал: смогу я ему чем-нибудь помочь или нет?

Я похвалил село, Дом культуры, центральную улицу, скотные дворы, в общем все, что бросилось в глаза, но председатель отнесся к похвале довольно равнодушно.

— То ли еще можно было сделать, если б хватало рабочих рук. У нас кого ни возьми — то контролер, то общественник, то участник самодеятельности. Надо коров доить, а доярку на слет передовиков вызывают или проверяют чью-либо работу по заданию народного контроля, или едет с концертом в соседнее село. Хоть бухгалтерию снимай и направляй на дойку.

Я невольно сравнил его с Матвеем, которому в ту пору было, наверное, столько же лет. И вспомнилось, как к осени деревенские строители (два старика и три подростка) отгрохали скотный двор, крытый свежей ржаной соломой, и зерносушилку: избу без окон и дверей, с широким лазом в крыше и системой жестяных труб, идущих от печи, сложенной из кирпича-сырца посреди избы с топкой в подвале.

Матвей примчался на жеребце, соскочил с него прямо на широкую лестницу, ведущую в зев зерносушилки, и стал выступать перед двумя десятками женщин и многочисленной ребятней. Он говорил о мощных тракторах, поднимающих пласты залежавшейся земли (у нас было два колесника СТЗ), о комбайнах, которые заменили труд косарей и жниц (комбайн у нас был один и тот все время ломался), и столько в его словах было веры в будущее, столько энергии, что мы, мальчишки, готовые были сейчас же сесть за баранки тракторов, только бы доверили...

Я спросил, жив ли Матвей.

— Жив, конечно, что ему делается?

Полсамовара было выпито, прежде чем Матвей разговорился. Постарел он, усох, но единственная левая рука, сильная как и раньше, легко раздавливала луковицу, щелкала играючи прокаленными сушками.

— Судьба Корнея известна мне, — медленно говорил Матвей. — До войны товарищами были, одних девок целовали.

И рассказал все, что знал.

Каждый вечер Корней с гармошкой проходил по растянувшейся в одну улицу деревне, собирая за собой молодежь. Девчонки старались быть поближе к нему. Сначала он всех одинаково одаривал вниманием, потом, выделив Наталью, стал уединяться с ней, и улица, оставшись без гармошки, пустела. Дело шло к свадьбе, но Наталья соглашалась выйти за него после того, как он отслужит в армии. Осенью Корнея призвали служить на западную границу. Наталья ждала исправно. Вечерами на улицу выходила редко, отбрила хромого кузнеца Антона, давно сохнувшего по ней и теперь, без Корнея, решившего попытать счастья. Письма писала любимому ласковыми, длинными.

Летом началась война. Письма от Корнея перестали приходить, а потом пришло известие...

Прошел год, и хромой кузнец дождался своего: Наталья вышла за него замуж.

А Корнею не довелось и повоювать как следует. В первый же день войны его застава была проутюжена немецкими танками, а оглушенный взрывом, Корней попал в плен. Всю войну провел он в концлагере при какой-то каменоломне, тесал камни. Изготовленными жерновами можно было оборудовать все мельницы Европы. Надорвался Корней. Каменная пыль осела в легкие, кашлять стал. Освободили его наши уже в самом конце войны. Домой приехал, надо бы радоваться, а какая тут радость, если чувствовал, что на краю могилы стоит и сам для победы ничего не сделал? Да к тому же мать умерла, и Наталья замуж вышла.

Хромой кузнец Антон как узнал, что Корней вернулся, увидел плачущую Наталью, ушел в кузницу и всю ночь ковал железо, бередил стуком души сельчан.

А Наталья в ту ночь пошла к Корнею, села у горящей копилки, уронила голову в скомканный в руках платок и беззвучно вздрагивала от рыданий.

Корней лежал на кровати, уставившись немигающими глазами в потолок. За весь вечер они не сказали друг другу ни слова. И неизвестно, сколько б они так промолчали, если

б Матвейч не увел Наталью домой и не угостил бы Корнея водкой. Вот тогда и узнал Матвейч о тяжелых годах, которые провел Корней в плену, и сразу же ухватился за Корнеево ремесло, потому что надумал строить колхозную мельницу.

Корней обрадовался предложению и пообещал вытесать такие жернова, которые будут сто лет молотить и не сотрутся.

Сделать жернова он все-таки успел, правда, не дождался пуска мельницы. Умер. А жернова работали, мука получалась мягкая, как лебяжий пух. Но через несколько лет стали привозить готовую муку, надобность в мельнице отпала.

Жернова долго лежали на берегу ручья, пока Матвейч не организовал мужиков, которые перевезли их на кладбище и положили на могилу Корнея вместо памятника.

5

Наталья сидела в кресле перед телевизором, вязала маленькие шерстяные носки. Камерный оркестр играл Баха. По лицу Натальи нельзя было догадаться, какие чувства испытывает она от музыки, скорее всего слушает по привычке. Она пополнела, волосы поредели и потеряли матовый оттенок и были тужесть.

Разговор не клеился. Она меня узнала, и в глазах Натальи была настороженность, будто ждала неприятного вопроса.

В комнату вбежали два совершенно одинаковых карапуза-близнеца, одетые в матроски.

— Уж не Витяшкины ли? — осведомился я.

— Его-о-о... — со сдержанной гордостью отозвалась Наталья, и взгляд ее потеплел. — Вот оставили на целых два года, а сами в Африку махнули. Завод какой-то строить.

Приехал на красном «Запорожце» Антон, прихрамал в квартиру, степенно поздоровался.

Наталья неторопливо стала собирать на стол.

За обедом мы с Антоном поговорили о машинах, об урожае. Антон стал механиком, потому что колхозная кузница, как и мельница, за ненадобностью была снесена.

Антон заторопился на работу, хотя рабочий день уже кончился. Ему надо было съездить в дальнюю бригаду, посмотреть, что стряслось с сенокосилкой.

Мы с Натальей отправились на ферму. Она была на пенсии, но почти каждый вечер проводила своих коров.

Когда мы проходили мимо кладбища, Наталья спросила:

— Помнишь, я посылала вас с Лешкой на Вышку, к Корнею?

Я кивнул.

— Ты был тогда совсем маленьким... — глаза ее повлажнели.

Значит, она все помнила. Корней жил в ее душе.

Я сел за очерк.

Работа подвигалась быстро, но прервана была самым неожиданным образом: кончилась паста в авторучке, и мне пришлось идти в местный магазин. Магазин как магазин, светлый, с большими окнами. Несколько женщин придирчиво рассматривали платья, уверенные, что любое им по карману.

Продавщица, полногрудая, в белой кофте, подчеркивавшей чистоту чуть тронутого загаром лица, выкладывала на прилавок все новые и новые товары.

Меня поразило ее сходство с Натальей Бунчук, с той Натальей, которую я знал лет тридцать назад. Белокурые, как хорошо вычесанный лен, волосы распущены по плечам, в прядях угадывалась тяжеловатость. Чуть вздернутый нос, по бокам которого зрели еле заметные веснушки. Серые, с голубоватой искрой глаза. Только фигура и обнаженные руки полнее, женственнее да движения неторопливы. Та, давняя Наталья, была живой.

У меня было такое ощущение, будто я наконец встретился с детством, заглянул в глубины прошедших годов. Это чувство разлилось во мне, расслабило до сентиментальности, помешало работать. Бросив очерк, я бродил по рощам и пригоркам, моля о том, чтоб эта женщина, имени которой я не знал и которая вполне могла быть дочерью Натальи Бунчук, оказалась незамужней или хотя бы разведенной.

Редактор будто почуял издали, что надо мной в Кедровке нависла опасность, что он может остаться единственным холостяком в редакции, и срочно вызвал меня в город.

Так я и уехал с ощущением нерешенного дела, хотя очерк был черне написан.

Как-то утром развернул свою газету, ожидая увидеть свой очерк. Но вместо него была заметка-информация о доярке Наталье Бунчук, ушедшей на заслуженный отдых. Вся ее жизнь уложилась в тридцать строк.

Не успел я возмутиться, как позвонил Серый.

— Тебя что-то на мемуары потянуло... Стареешь, что ли?

Я не ответил. Может, и старею. Меня вдруг поразила мысль, что писал я эту информацию всю жизнь. Тридцать лет. По строке в год.



Леонид Ершов родился в с. Залесово на Алтае.

Работал электромонтером на Алтайском тракторном заводе.

В 1964 году закончил историко-филологический факультет Бийского пединститута.

Печатался в коллективных сборниках. В 1979 году выпустил книгу стихов «Поклон».

Леонид ЕРШОВ

ВСТРЕТИЛИСЬ ТРИ ДРУГА...

РАССКАЗ

Под вечер Лобанов получил телеграмму. Телеграмма была необычной. Друг по институту Глеб Соломин просил займы пятьсот рублей. Причем срочно. Телеграмма была тоже срочная.

Зоя взяла телеграмму, прочитала и, дернув плечиком, уставилась на Лобанова.

— Ну что молчишь? — спросила она нетерпеливо.

— А что говорить? — отозвался Лобанов, пряча телеграмму в карман. — Раз Глеб просит, надо выслать.

Лицо жены изменилось: сжались плотней губы, в глазах заиграла насмешливая жалость.

— Сейчас пойдешь с книжки снимать или завтра? — насмешливо спросила Зоя.

— Почему это я пойду? Книжка на тебе — ты и пойдешь.

Жена демонстративно села на диван и сказала решительно:

— Я никуда не пойду. Нет, вы посмотрите: высылать неизвестно кому целых пятьсот рублей. Ужас!

Лобанов резко возразил:

— Высылать кому — очень даже известно. Моему лучшему другу Глебу Соломину, с которым мы...

— Я не знаю, что вы там с ним, — перебила жена, — а денег не дам. Зима на носу. Тебе ботинки надо, мне пальто, Светке новую шубку.

— Зоя... — умоляюще начал он.

— Даже не подговаривайся, — отрезала жена.

Он ушел в другую комнату.

Весь вечер в доме Лобановых стояла гнетущая тишина. Спать супруги легли поврозь: Зоя — в гостиной на диван, Валентин — в смежной комнате на пол, постелив матрац.

Лобанов долго не мог заснуть в эту ночь. Деньги, решил он, все равно вышлет. Завтра же займет у сослуживцев и вышлет. Не ясным оставалось одно: зачем они понадобились Глебу. Может, несчастье какое? Нет, он не станет пересылать, он привезет их сам.

Его вдруг потянуло к другу, вспомнились студенческие годы, и такими радостными они показались Лобанову, что сердце сильнее заколотилось, голова затуманилась от воспоминаний, будто хлебнул хмельного.

Конечно, то, что завтра придется бегать и просить денег займы, отдавало маленьким беспокойством, но оно было не настолько сильным, чтобы омрачать светлые воспоминания о студенческой поре, о мужской дружбе.

А утром выпал снег. Валентин почувствовал это, как только проснулся. Что-то изменилось в комнате, где он спал. Были утренние сумерки, а что-то светило, подсказывало, что выпал снег. Отливавший синевой, он лежал на тротуарах, крышах домов. Валентин постоял у окна, порадовался снегу и пошел умываться. Сегодня он сядет в поезд, займет место у окна и будет долго смотреть на все, что окажется за окном: на запорошенные чистые поля, речушки с ясно обозначенными заберегами, на людей, незнакомых ему, но потому и интересных.

В школе, где Лобанов преподавал историю, он развил бурную деятельность, сколачивая заем Глебу.

Сначала подкатился к химичке, прозванной учениками Статуей Командора. Высокой и плотной была химичка Клара Александровна.

Выслушав просьбу Лобанова, она спросила:

— Зачем вам так много, Валентин Семенович?

— Понимаете, жена себе шубу отложила на базе за тысячу двести.

— За тысячу двести! — поразилась химичка. — С ума можно сойти. Вот это муж!

— У нее завтра день рождения.

— Так вы в подарок?

— Ну конечно.

— Пятьсот не найду, — сказала Клара Александровна, — а двести могу одолжить.

— Спасибо, — поблагодарил Лобанов. — Еще триста кто-нибудь другой даст.

Остальным, к кому обращался Лобанов, не надо было объяснять, зачем понадобились деньги. Это сделала за него химичка.

Сто рублей «пожаловала» сама директриса, похвалив Лобанова за внимательность к жене и пожуриив за расточительность. Многих, конечно, интересовало, что из себя представляет шуба. Лобанов отвечал, что сам он ее пока в глаза не видел, но жена говорила, будто бы шуба импортная.

Заем Лобанов для Глеба сколотил. Получилось это довольно просто, затем рискнул отпроситься на субботу. В перерыве Лобанов зашел в кабинет директрисы Инны Витальевны.

Та, склонившись за столом, завесившись кудряшками, просматривала школьные журналы.

— Просьба у меня, Инна Витальевна. Нельзя ли моих два завтрашних урока перенести на другой день?

— Зачем? — удивилась та.

— Позарез нужно в Зыряновск съездить. За шубой.

— Боже мой, — простонала директриса, — вы этой шубой сегодня всех с ума свели. Разве не на нашей базе ее вам отложили?

— В том-то и дело, что в Зыряновске. Там у меня друг детства живет. Его жена, Соня, как раз базой заведует.

Директриса несколько мгновений соображала, как ей поступить: отпускать Лобанова или не отпускать.

— А на какой день мы уроки перенесем?

Лобанов быстро подсказал вариант, чтобы не задавать работы завучу с расписанием:

— Пусть их возьмет кто-нибудь, а потом мне вернут.

— Пожалуй.

Поблагодарив, Лобанов поскорей, пока Инна Витальевна не передумала, направился к двери.

— Валентин Семенович, — окликнули его.

— Да.

— Неудобно, конечно, — покраснев слегка, говорила Инна Витальевна, — поинтересуйтесь у этой жены вашего друга, нет ли у них на базе еще шубы. Разумеется, подешевле, чем ваша. Сорок шестой размер.

— Конечно, конечно, я обязательно, — пообещал Лобанов.

Выйдя, Валентин почесал затылок, покачал головой оттого, что, не умея вроде лгать, тут сразу наворотил вранья с три короба. Но быстро оправдал себя тем, что уж очень хо-

чется увидеть друга Глеба. С ним Лобанов не виделся почти три года.

После занятий Валентин сбегал к Статую Командора, взял у нее обещанные двести рублей и сразу домой, и сразу собираться на поезд.

Эти сборы не остались незамеченными женой.

— Ты это далеко?

— Я-то? В командировку.

Жена усомнилась, перестала гладить дочины платьица.

— В какую еще командировку?

Засовывая «Огонек» в портфель, Лобанов ответил:

— А вот в такую: на поезд и ту-ту.

— Ты по-человечески можешь объяснить?

Лобанова так и подмывало сказать: денежки повезу другу Глебу, а ты со своей сберкнижкой можешь хоть спать. Не нужна она мне. Но сказал другое, соврал, конечно, не идеально, но все равно жена поверила.

— За наглядными пособиями для школы. И за шубой для директрисы.

— За какой шубой?

— За женской. 46 размер. У директрисы в Зыряновске подруга работает завбазой. Отложила ей шубу. Сегодня телеграфировала, чтоб забрали, потому что на базу вот-вот нагрянет ревизия. А мне надо за наглядными пособиями. Вот и получилось по совместительству.

— А шуба-то какая? — спросила жена.

Щелкнув эффектно замком портфеля, Лобанов ответил:

— Зимняя.

— Знаю, что не летняя.

— Импортная. Лиса с соболем. Тысяча пятьсот цена этой шубе.

— Ужас! — воскликнула Зоя. — И где люди деньги берут?

— Копят, ведут исключительно разумный образ жизни, не то, что мы.

— А что мы, роскошничаем, что ли? — удивилась словам Лобанова жена.

— Возможно, скромней надо, скромней. Ну, я поехал. Счастливо оставаться.

Жена торопливо посоветовала:

— Сопрут у тебя эту шубу — не рассчитайся.

— Будь спокойна, — серьезно ответил Лобанов, но не выдержал, ухмыльнулся. Жена заметила ухмылку, усомнилась.

— Ты вроде как врешь? А?

— Зачем мне врать, — снова сделал серьезное лицо Лобанов и, вытащив из кармана деньги, помахал ими перед лицом жены.

— Тысяча пятьсот и считать не надо.

— Ну ладно. Застегни карман на пуговицу,

а то вытащить могут. И знаешь что. Поговори там с завбазой: может, у них есть шубы по-дешевле.

— Поговорю, хотя не стоило бы.

— Почему?

— Забыла?

— Ну, Валь, посуды здраво. Пятьсот рублей...

— Ладно, — ответил Валентин и вышел из квартиры.

С вокзала Лобанов послал Глебу телеграмму.

В Зырянск поезд прибыл почти в одиннадцать вечера.

Встретил его Глеб, получивший «срочную» буквально за час до прибытия в Зырянск поезда, которым ехал Валентин.

Когда объятия и рукопожатия кончились, Лобанов спросил:

— А что у тебя стряслось? Растрата, что ли? Я беспокоился.

— Какая у меня может быть растрата? — рассмеялся Глеб. — В школе, если и захочешь, не украдешь. На машину мне не хватает.

— На машину? — удивился Лобанов.

— А что? — спросил Глеб.

— Да ничего. А я думал, тебе надо куда-нибудь деньги срочно вносить. А про машину даже и мысли не было.

— Смутили меня колеса. Два года света белого не вижу. В кино забыл, когда уже в последний раз ходил.

— Зато вещь, — успокоил друга Лобанов.

— Я у Ильи тоже пятьсот попросил.

— У Ильи? Прислал?

— Нет, — мотнул головой Глеб. — А ты-то?..

— Я привез. Пятьсот, как ты и просил.

— Молодец. Устроит, если через полгода верну?

— Устроит. То есть... — Лобанов смеялся. — Ладно. Через полгода так через полгода.

А у самого неприятно запыло внутри: забирая деньги, он всем обещал вернуть через месяц. Как-то не сообразил, что долг в пятьсот рублей не каждый может вернуть в короткий срок. Но тут же Лобанов нашел успокоительный вариант: в конце концов жену можно заставить снять с книжки. Не хозяин он в доме, что ли?

Когда поднялись на третий этаж и остановились у квартиры Глеба, Лобанов ощутил запах съестного. Потянул носом, подумал весело: «Славно посидим».

В передней Лобанов снял ботинки, прошел в гостиную. Стола не было. Верней, он был: четырехугольный, полированный, хоть смот-

рись в него, как в зеркало. Но того стола, который рисовал в своем воображении Лобанов, уставленного закусками, с бутылкой вина, или даже двумя, в центре — того стола не было. А на четырехугольном, полированном сиротливо стояла ваза с увядшими цветами.

«На кухне будем сидеть», — подумал Валентин, снимая пиджак и вешая его на спинку стула.

Вошел Глеб с женой. Верой звали его жену. Лобанов ее знал, разулыбался, пожал маленькую тепленькую руку.

— Я незваным гостем, — сказал Валентин.

— Что вы. Мы рады, Валентин, а по батюшке не знаю.

— И не надо знать.

Глаза ее излучали приветливость. Симпатичная была она. Женственная.

— Я там варю борщ. Пойду. А вы побеседуйте, — сказала Вера и ушла.

Лобанов сел на диван рядом с Глебом, положил ему руку на плечо.

— Как ты там, — первым заговорил Глеб, — сеешь разумное, доброе, вечное?

— Сею. Но давай про работу пока ни слова. — И через несколько мгновений добавил:

— Получил телеграмму и как с ума сошел. Захотелось тебя повидать.

— Ну и правильно, — одобрил Глеб.

— А уж как врал! — Лобанов рассмеялся. — Я ведь сюда за шубой.

— За какой?

— Директрисе сказал, что поехал за шубой жене, а жене, что за шубой директрисе. И той и другой — шиш. В пальто ходят.

— Так у тебя еще на шубу есть?

Лобанов опять рассмеялся.

— Это версия, что за шубой поехал.

— Понятно, — вздохнул Глеб. — Скоро там борщ? — крикнул он жене в кухню.

— Я всю дорогу в вагоне-ресторане сидел, — соврал вдруг Лобанов. Что-то заставило его неожиданно соврать. Почувствовал, что надо это сделать.

— Ну, слегка перекусим. Не помешает, — сказал Глеб, а мыслями был где-то, только не рядом с другом Валентином.

«По рюмашке пропустим», — чуть было не добавил Лобанов, но опять что-то подсказало: не надо этого говорить, надо попридерживать язык.

— Илья, если выслал, то только завтра получу, — сказал задумчиво Глеб.

— Давай-ка... — заикнулся было Валентин. Он хотел попросить, чтобы и про деньги ни слова. Но прикусил язык.

— Что? В шахматы сыграем?

— В шахматы? Давай в шахматы, — со-

гласился Лобанов. — Только я игрок-то липовый. Меня сосед этими шахматами... Давай, давай, ничего. Тебя, может, и обыграю. Хотя нет: ты в общаге всех подряд чистил.

— Когда это было. Давно, — вставая, сказал Глеб и извлек шахматную доску из книжного шкафа.

Сели к столу, высыпали с грохотом фигуры, начали расставлять.

— Идите, — крикнула из кухни Вера.

— Партия отложена, — сказал Глеб и поднялся со стула.

Они отправились на кухню. Валентин, войдя туда, окинул взглядом стол. Стоял, дымясь, налитый в тарелки борщ да плетеная хлебница с нарезанными тонко ломтями хлеба.

— Не грех бы бутылочку за встречу, да... — Глеб развел руками. — Все наличные ресурсы брошены на машину.

— Могли бы купить через месяц, — сказала Вера, подавая ложки.

— Могли бы. Да этот Чернов ждать не будет — продаст. — И объяснил Валентину: — Я тут с одним в прошлое воскресенье договорился на рынке. «Москвича» он продал. Понравилась мне машина. Уговорил, чтобы подождал неделю. Что же Илья-то?..

Лобанов хлебал борщ. Сказал Вере:

— Сроду не ел такого борща. Вкусный. — Обыкновенный...

— Не прибедняйся, — вступил в разговор Глеб. — Что, что, а борщи жена у меня варить умеет.

Отужинали быстро. Вера стелила Лобанову на диване в гостиной, а Валентин и Глеб курили на кухне.

В передней затрещал звонок. Открывать пошел Глеб. Лобанов слышал, как шелкнул замок, а потом знакомый голос:

— Ну, здорово!

— Ха, Илья! Вот это номер! Прикатил.

Лобанов в одно мгновение достиг прихожей.

— Да тут и Валентин.

— Я всегда там, где трудно, — громко и радостно сказал Лобанов и стиснул Илью, хлопнул по плечу.

Некоторое время в прихожей царила неразбериха, но потом все образовалось. Илью провели в гостиную, стали рассматривать.

— Ну чего вы? — протестовал Илья.

С него сняли пиджак, — Валентин собственноручно стащил галстук, усадил друга на диван.

— Вера, — говорил Глеб жене, — смотри, какие у меня друзья. Дал телеграмму, и они тут как тут.

Не получалось у друзей связного разговора. Перескакивали с одного на другое. Пер-

вым не выдержал сбивчивой дружеской беседы Глеб.

Когда в разговоре получилась пауза, он предложил:

— Вздремнем хотя бы немного, а то завтра дела. — И спросил Илью: — Деньжат-то мне подбросишь? Отдам через полгода.

— Триста для тебя прихватил, — ответил Илья и полез в карман пиджака.

— Эх, маловато, — вздохнул Глеб.

— Всего у меня шестьсот, но половину жена дала на тряпки. Вот, полюбуйся.

Илья вытащил из кармана бумажку, развернул ее, стал читать: пальто детское — 32 размер, колготки — размер 46, бюстгальтеры атласные — 2 штуки, помада польская и т. д.

— Это что, срочно? — спросил Глеб.

— Даже экстренно. Я давно собирался за барахлом в Зырянск. Да все дороги не было. И дел в школе невпроворот.

— Три года он за бюстгальтерами собирался, — пошутил Лобанов.

— В хозяйстве все нужно, — отшутился Илья.

— Ну, спать так спать, — сказал Валентин и стал снимать брюки.

— А может, потерпят твои покупки? Понимаешь, не хочется мне теще кланяться. У ней есть кое-какие сбережения, да я не хочу. Чуть что, корить будет, — вполголоса говорил, чтобы не слышала Вера, Глеб другу Илье.

Илья отрицательно мотал головой:

— У нас с женой уговор. Она бы мне и этих трехсот для тебя не дала, если бы не за тряпками ехать.

— Гасите свет, гобсеки, — потребовал Лобанов.

Глеб и Илья ни до чего не договорились. Глеб, похоже, обиделся и ушел в спальню. Илья разделся и лег рядом с Валентином.

— Отдай ему еще двести, — сказал Илье Лобанов. — Надо человеку. Машину все же покупает.

— Да не могу, — жалобно сказал Илья. — Жена с меня голову снимет. Уговор дороже денег. Триста Глебу, триста на покупку вещей.

— Я уже это слышал, — ответил Валентин. — Только я смотрю, сейчас дороже денег вроде ничего нет. Приехал к другу, встретил второго, а друзья мои всю ночь мощной трясут, мысли у них заняты машинами, помадой, бюстгальтерами.

— Се ля ви, Валя, — вздохнул в ответ Илья.

— Се ля ви! — передразнил его Лобанов и отвернулся к стене.

Первым заснул Илья, негромко похрапывая. А Валентин заснуть не мог...

Из смежной комнаты, где был Глеб с женой, доносился приглушенный, но достаточно внятный разговор. Супруги ругались.

И нехорошо, тоскливо стало Лобанову. И еще — обидно. Неизвестно почему, а обидно.

— Нет, ты пойдешь к матери, — слышал Валентин голос Глеба, — скажешь, что деньги нужны...

Лобанов заткнул уши. Попробовал заснуть, но сон не шел. И вдруг ему захотелось уйти из этого дома. Встать, одеться и поти-

хоньку уйти. Сесть на поезд и уехать обратно домой.

Сначала это показалось ему нереальным, но по мере того как голос Глеба становился отчетливей, а интонация резче, решение уехать тотчас, несмотря на поздний час, укреплялось в Лобанове.

И он встал. Осторожно перелез через Илью, оделся в темноте и вышел в прихожую.

Обулся тихо, взял с вешалки плащ, положил его на руку и, открыв дверь, очутился на площадке. Вниз сошел не торопясь.

Тихо было на улице. Снова падал снег, Лобанов глубоко вздохнул и зашагал к вокзалу.



Г. БУРКОВ. На току. Шипуновский район, колхоз им. Гринько.

В. ПЕТРУШИН

ОСЕНЬ

Осень гуляет
По улицам города,
Ветром вздыхает
И плачет дождем.
Голые ветви
Продрогли от холода,
Мокрые псы
На асфальте
Расколотом
Греются
Под фонарным огнем...
Холодно, пусто...
Обочины улицы
Прячут усталость,
Траву тербя.
И тополя стариковски
Сутулятся,
Окна портьерами
Толстыми жмурятся,
Тихо и сыро.
И нету тебя...

КРАНОВЩИК

Помолчал. А что болтать! Работа...
Сигаретку затоптал ногой.
И в свои стеклянные высоты
Словно в дом направился родной.

И опять заскрежетали тросы.
И движением его руки
Вверх взлетали так легко и просто
Окна, ванны, стены, потолки...

Сколько тяжести в ладонях этих —
На мозоли вечные взгляни:
В сорок пятом мир для всей планеты
До Берлина донесли они.

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

Ночь весенняя,
Ночь морозная.
Ковш — созвездие
Семизвездное
Над равниною
Наклоняется,
Зимним холодом
Наполняется,
Чтоб потом прийти
В ночь июльскую,
Напоить росой
Поле русское.



Ты, пожалуйста, не грусти:
Жизнь устроена очень странно,
Человеческие пути —
Параллели и меридианы.
Одинока ли та звезда,
Что мерцает горячей точкой?
Кто, скажи, победил когда
Одиночество в одиночку!

В. УНЖАКОВ

ПОЛЕ

Уронила зарница
В поле утренний свет.
Загляделась пшеница
В тишине на рассвет.
Ах, какое раздолье!
Я стою и дивлюсь:
Может, с этого поля
Начинается Русь...

НАКАНУНЕ

Вставал рассвет. Ни шороха, ни звука.
Они стояли в пламени зари.
Впервые однокласснице-подруге
Шептали губы парня: «Говори!»
Но не смогла соседская девчонка
Ему слова «люблю тебя» сказать...
А до войны осталось ровно столько,
Чтобы успеть его поцеловать.

В. ТОРШИН

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ

Однажды летом из вагона
Я вышел, выбросил билет.
И вижу: девушка перроном
Бежит, к груди прижав букет.

В лице такое ожиданье,
Что не увидишь и во сне.
Все меньше, меньше расстоянье.
Я растерялся — вдруг ко мне.

Неужто мне семнадцать снова,
И я готов наедине
Произнести, робея, слово,
Что так понятно ей и мне.

Она же, словно птица, мимо,
Мелькнул заждавшийся букет...
И мне на плечи лег незримый
Груз весом в тридцать с лишним лет.

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Струй клубок серебряный катая,
Распугав в осинниках грачей,
Над деревней туча громовая
Обнажила тысячу мечей.

Заворчав раскатисто, сердито,
Обронила вдруг клубок из рук —
Полились серебряные нити
На деревню, на поля, на луг...

Разбегались под навесы люди,
Ежились от сырости рубах,
Говорили: «Дождь — ну что за чудо!
То-то будет хлеба на полях!»

А струя спешила за струею,
И шипели лужи, пузырясь.
Женщина махнула вдруг рукою
И пустилась, озорная, в пляс.

И деревней, с криками и визгом,
Понеслись по лужам пацаны —
Разлетались радужные брызги,
Хлопали намокшие штаны.

Громыкнула туча и по свету
За леса приполкшие ушла...
Улыбались люди, словно дети,
И земля дымилась от тепла.

В. КОРЖОВ

Улетают года безвозвратно,
Льется свет от цветущих крушин.
Возвращается рейсом обратным
Теплоход «Василий Шукшин».
Мимо острова плесом глубоким
Он проходит ночью порой,
И трепещут на створе далеко
Два огня — это путь по прямой.
Над костром поднимается пламя,
Набегает на берег волна,
И становится грустно, что с нами
Больше нет на земле Шукшина.

Мчится желтая байдарка.
Плещет синяя вода.
Мне и весело, и жарко,
И легко как никогда.

Тело бронзовым загаром
Отливает — сила есть.
И весло в руках недаром
Продолжает шелестеть.

У Бобровского затона
Сделал несколько кругов.
Облака на небосклоне,
Запах сена с берегов.

Август месяц на исходе,
Солнце ветлы золотит,
И на встречном теплоходе
Песня бодрая звенит.

ЯБЛОНЯ

Ты мне яблоню показала,
Когда яблоня расцветала,
И лукаво «люблю» сказала,
Когда яблоня расцветала...
А затем были дождь и ветер.
«Ты один у меня на свете...»
Ты словами мне душу согрела.
Утром яблоня облетела.
И цветы на земле лежали,
Кружева белоснежной шали,
И лежали цветы на пороге,
Словно счастье мое и трезоги...
А любовь — дело было в мае —
Укатила в ночном трамвае.

И с тех пор я твержу несмело:
— Что ж ты, яблоня, облетела.

Сверкает солнце на деревьях.
Припорошенные снежком,
Они по улице пешком
Бредут заснеженной деревней.
К реке, где катер вмерз в декабрь,
Где полыньи стекло синее,
И где печально холодеет
Сквозная роща тальника.
Я за деревьями пошел,
У полыньи остановился.
Над полыньею пар клубился,
А лед был прочен, словно пол.
Тропинка дальше повела,
Что лучше ледяной дороги!
Идешь, забыв про все дела,
Про все сомненья и тревоги.

В АПРЕЛЕ

Разбушевалась Барнаулка,
Бурлит, как в прошлые года,
И мимо тихого проулка
Струится мутная вода.
Забор, где в детстве мы играли,
Надвинув кепочки на лбы,
Перекопился, и упали
На землю старые столбы.
А дом, как сторож дядя Ваня,
Такой же ветхий и больной,
Согнувшись, папиросу тянет,
Дымок пуская над трубой...
Ночами звезды хоровадят,
Меж редких туч плывет луна,
И кажется, что детство ходит
У молчаливого окна.

А. КОРЧУГАНОВ

ДЕТСТВО

Тогда шумела за деревней
Речная мельница в помол.
И дед Наум, седой и древний,
С клюкою узловатой шел
Лесною, узкою дорогой
Через гудящий березняк,
И бабка в ночь дарила богу
Молитвы стершийся пятак.
Изба на взгорье невысоком,
Сундук, кровать, половики,
Вид на песчаную дорогу
И неумолчный шум реки.

Там о военном лихолетье
Сосед, израненный, басил,
На фронтовом его кисете
Я буквы первые учил.
И на полutorке побитой
Крутил баранку мой отец,
На три деревни знаменитый
В свои неполных тридцать лет.

Березняки на родине моей
Меня, пожалуй, напрочь позабыли.
Там на листьях прожилки клейкой пыли.
Наполовину умерший ручей
Придавлен желтою плотиной,
Но выйду утром рано-рано,
На берегах цветущую сарану
Поглажу грустною рукой.
Как хорошо в чащобинах глухих,
На отдаленных от людей полянах
Цвели и пахли те цветы — сараны —
На склонах, от покоя золотых.
Торжествовала в мире доброта,
Над лесом шли тумана караваны —
Они напоминали замки, страны,
Тугие взрывы, пену океана,
Легки и невесомы, как мечта.
Березняки на родине моей,
Вас с каждым годом меньше,
И полого
По склону шрамом тянется дорога,
И тусклый свет встает из-за полей.

И. МОРДОВИН

НА РОДИНЕ

На Родине поля без края,
В зеленом мареве леса.
Здесь наши дети вырастают
И обретают голоса.

Здесь ощущаешь близко-близко
Всем сердцем боль земли родной,
Когда стоишь у обелиска
Под негасимую звездой.

И как бы ни гудели ветры,
И ни металось воронье —
Над Родиной восходы светлы
И чисты помыслы ее.

ЧУДО

Нерезкая белесовость берез.
У тальника—замшелая запруда.
Я здесь родился, в этой сказке рос
И все-таки ждал сказочного чуда.

В овраге лопотанье ручейка
И листья прошлогодние по склону.
Сегодня здесь глазами новичка
Гляжу вокруг открыто, удивленно.

И чудо есть! Оно поет во мне,
Пришедшее, не высказать откуда,
В березовой знакомой стороне
Вовек неиссякаемое чудо.

ОСЕНЬ

Когда веснушчатый сентябрь
Туманов бороды вздохматит,
К нам осень, в рощах шелестя,
Приходит в разноцветном платье.

Величьем женственным горда,
Она скрывает грусть в походке
И, ожидая холода,
К причалу зазывает лодки.

Нарядней с каждым новым днем,
Когда в полях темно и пусто,
Во всем в роскошестве ее
Зазнайства нет и нет распутства.

Напрасно тростники шуршат
И ветер завывает в трубы,
Совсем не им принадлежат
Ее рябиновые губы.

Ю. ФРОЛОВ

●
Я за порог — и, как другая пристань,
Сегодня мир в сиянии утра.
То времени река волною быстрой
Мою ладью вернула из вчера.

И на берег сойдя (давно манящий),
Что грезился сквозь зимнюю метель,
Я наслаждаюсь музыкой пьянящей,
Классической, с названием «капель».

Оно всегда из детства это чудо,
От первых изумлений синевой...
И все мои кораблики оттуда
Плывут ко мне весеннею водой.

Оно всегда из юности, из первых
Прикосновений губ, беззвучных слов...
И лишь накатит вал черемух белых —
Я задыхаюсь от горячих слов.

Какая-то во мне неутоленность...
Ну что тебе забредилось, душа!
Сейчас бы... Нет, — года, остепененность...
Сдержался... и шагаю не спеша.

И вдруг
По луже шлепаю блаженно.
[Весной поступкам объяснений нет.]
Я целый год взрослел, ходил степенно,
В апреле снова мне семнадцать лет!

ВЕСЕННЕЕ (шуточное)

Сегодня день от яркости звенит,
Играют вальс под окнами капли,
И кто-то там, забравшийся в зенит,
Такие отчебучивает трели!

От этих трелей кругом голова,
А тут еще и запахи в придачу...
Какие, к черту, сочинять слова!!
Вон — вышел дед, пойду-ка, посудачу.

Просел, вздохнув, подтаявший сугроб,
Из-под него ручей волной метнулся.
Очнулся дед, шапочку сбил на лоб,
Сощурился на солнце, улыбнулся.

— Ну че, сосед! Че варешку раскрыл!
Весна, сосед. Весна, ядрена шишка! —
Поднялся старый, спину распрямил
И засмеялся звонко, как мальчишка.

В. ВОРОЖБИТОВ,

начальник объединения «Алтайпчелопром»

МЁД АЛТАЯ

Наш край занимает ведущее место в Западно-Сибирском регионе по количеству пчелиных семей. Всего в этом районе России, куда входят Алтайский и Красноярский края, Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области, насчитывается более 600 тысяч семей, в том числе более 270 тысяч в совхозах и колхозах, 50 тысяч в леспромхозах и других государственных предприятиях и свыше 280 тысяч в индивидуальном секторе. В хозяйствах насчитывается более 3000 пасек.

Удельный вес в продаже меда государству по Западной Сибири составляет: Алтайский край — 59%, Красноярский — 24,5%, Новосибирская область — 6,8%, Омская — 1,2%, Тюменская — 6,6%.

Значительно перевыполнили план сдачи меда хозяйства Алейского, Косихинского, Кытмановского, Усть-Калманского, Пospelихинского, Троицкого и других районов нашего края.

В два и более раза добились перевыполнения совхозы и колхозы Бийского, Советского, Усть-Пристанского, Целинного районов. Но наиболее высоких результатов по сдаче меда добились пчеловоды Целинного района, получившие по 27,5 кг товарного меда на 1 пчелосемью. При плане в 39 тонн ими сдано 105 тонн меда. Более 30 кг товарного меда от одной пчелосемьи получено хозяйствами Алейского, Косихинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов.

Лучших производственных показателей достигли пчеловоды совхозов «Янтарь Алтая», «Мед Алтая», «Нектарный», «Горный нектар», «Путь Ленина», Кытмановский, «Энгельский», «Вяткинский», «Брусенцевский», Колпаковский, «Осколковский» и другие, колхозов «Великий перелом», «Путь Ленина», «Великий Октябрь», «Первое мая», «Советская Сибирь», «Заветы Ильича», «Родина». Наивысших показателей по итогам 1979 года добились и стали кандидатами на краевую премию имени пчеловода совхоза «Новый» В. Г. Афонина 22 пчеловода (по условиям краевого соревнования нужно получить не менее 50 кг товарного меда на 1 пчелосемью). От имеющихся на пасеках 120—175 пчелосемей получено не менее 6,4—12 тонн товарного меда, или от 55 до 82 кг от одной пчелосемьи. Вот имена кандидатов, добившихся самых высоких показателей: Рябцов Павел Алексеевич из совхоза «Колпаковский», Горох Кузьма Прокопьевич из совхоза «Колпаковский», Якимов Константин Федосеевич из совхоза «Горный нектар», Галкин Григорий Иосифович из совхоза «Отрадный», Коновалов Иван Георгиевич из совхоза «Горный нектар».

Перевод пчеловодства на промышленную основу

может быть осуществлен, если в хозяйствах будут выполнены основные принципы организации, соблюдены организационно-экономические условия и осуществлена промышленная технология содержания пчелосемей.

Что же следует иметь в виду, по нашему мнению, под этими основными принципами и организационно-экономическими условиями в совхозах и колхозах и каковы из них главные черты, характерные для создаваемых промышленных пасек в нашем крае?

Прежде всего в основных принципах организации должны найти положительное решение вопросы создания кормовой базы, проведения работы по концентрации пчеловодства, механизации основных производственных процессов, размещение центральной усадьбы в крупном населенном пункте, с развитой дорожной сетью и при наличии линий электропередач, культурно-бытовых объектов, имеющих хорошую связь с центральной усадьбой; иметь законченное технологическое оборудование, подобрать требуемый тип улья, породу пчел и самое главное — подготовить и иметь пчеловода, знающего основы пчеловодства и технику, умеющего водить автомашину или трактор.

В организационно-экономических условиях должны найти разрешение вопросы проведения внутрихозяйственной специализации пасек, внедрения хозрасчета, эффективного планирования с учетом особенностей новой техники, централизации работ по обслуживанию точек, коллективная (на добровольных началах) форма организации бригады, звена, кооперации и разделение труда, применение новых форм материальной заинтересованности, систематическое повышение квалификации пчеловодов, составление календарного плана обязательных пасечных работ по периодам и т. д. И, наконец, промышленная технология содержания пчелосемей, которая всецело будет зависеть от выполнения отмеченных выше условий и которая достаточно хорошо освещена в печати.

Освоение промышленной технологии в пчеловодстве невозможно без всестороннего научно-технического прогресса, без широкого внедрения достижений науки и передовой техники.

Современные пасеки совхозов и колхозов Алтая имеют 80—120 ульев, обслуживаются пчеловодом и одним сезонным помощником.

Нагрузка на одного среднегодового работника 70—80 ульев и лишь у немногих несколько больше. Технология нынешнего содержания пчел такова, что она основана, главным образом, на затратах ручного труда. Известно, что при любительской технологии насчитывается более ста наименований пасечных работ и операций, которые выполняются одним пчеловодом.

На крупных пасеках, звеньях, бригадах, в пчелосовхозах значительно легче осваиваются прогрессивные методы содержания пчелосемей, снижаются затраты на капитальные вложения в расчете на пчелиную семью, легче осуществляются подготовка и подбор высококвалифицированных кадров. Поэтому одна из важнейших задач в области пчеловодства — укрупнение пасек как за счет собственного воспроизводства пчелиных семей, а также покупки, передачи пчел, объединения мелких пасек в крупные фермы.

Но высшей формой концентрации и специализации являются совхозы, имеющие пчеловодство в качестве главной отрасли хозяйства.

Организация крупных специализированных пчелосовхозов в крае началась в конце 1969 года в Алтайской и Присалаирской почвенно-экономических зонах, где в хозяйствах сосредоточено около 60 процентов пчел и производящих почти столько же товарной медовой продукции. Производство валового меда в этих зонах на одну пчелосемью в благоприятные годы составляет 35—45 кг и более, в худшие — 25—30 кг. Дорожная сеть с твердым покрытием развита слабо, в

дождливый период использование средств передвижения затруднено, мед здесь берется тяжело, поздняя весна с частыми похолоданиями задерживает рост пчелиных семей.

Вторая половина короткого и нежаркого лета часто дождлива, как правило, пасеки лесной зоны в дождливые годы менее продуктивны, чем степной.

В течение сезона пчелы используют несколько видов медоносных растений: в мае — ивовые заросли, в конце мая до середины июня — желтую акацию, дающую суточный привес контрольного улья в период массового ее цветения в хороших погодных условиях до 7—10 кг.

Главный взятки в июле интенсивный, продолжительностью до 15—20 дней с зарослей дягиля, кипрея, медуницы, русянки, сосюреи широколистной, герани луговой, дудника лесного, сныти обыкновенной и другого разнотравья. Примерно в этот же период в открытой степной части взятки берется с посевов гречихи, эспарцета, донника и т. д.

Только хорошее знание местных условий, содержание сильных семей с требуемыми кормовыми запасами, замена части кормового меда сахаром, необходимым количеством отстроенных сотов, кочевка или деление пасек на 2—3 точки и др. обеспечивают получение устойчивых и высоких медосборов в данных зонах.

Первыми пчелосовхозами в этих зонах были «Турочакский», «Малиновский» и «Кедровский», созданные в 1966—1967 годах на базе экономически слабых колхозов и разукрупненных совхозов, имевших от 1,8 до 3 тысяч пчелосемей.

Удельный вес пчеловодческой продукции в общем объеме производства этих совхозов составлял 10—15 процентов. Эти хозяйства были многоотраслевыми, ведущая отрасль — мясо-молочная. Пчеловодству уделялось мало внимания, и при сложившихся условиях отсутствовали перспективы, сдерживалось его развитие.

Пчеловодческое направление их было изменено в 1975 году. Применить сколько-нибудь иные технологические приемы, имеющиеся средства и оборудование в условиях данных хозяйств было сложно и практически невозможно. По традиционной организации и технологии пчеловодства пасеки содержат на отдельных точках, разбросанных по территории хозяйства, района. Пасеку обслуживает пчеловод и помощник, как правило, муж и жена, то есть пасека является сугубо семейной. Какой-либо техники и транспортных средств в ее распоряжении до недавнего времени не было, если не считать лошадь. Большая удаленность от центральных усадеб, поселков создавали и создают серьезные трудности с кадрами в пчеловодстве. Таким образом, технические, организационные, экономические и социальные условия стали диктовать необходимость перехода к другой технологии и организации пчеловодства.

Первые неудачные попытки организации специализированных пчелосовхозов послужили хорошим уроком, из которого были сделаны соответствующие выводы, и одновременно импульсом, заставившим нас искать иные формы организации. И такая форма была найдена. Осенью 1968 года небольшая группа алтайских специалистов побывала в Хабаровском крае и участвовала в работе всероссийского семинара, организованного управлением пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР, ознакомилась с работой пчеловодческих совхозов.

По приезду крайкому, крайисполкому и краевому управлению сельского хозяйства была подготовлена докладная записка с оценкой состояния пчеловодства в совхозах и колхозах края и предложения по организации пчелосовхозов. В ней нашли отражение наш первый не удавшийся опыт, опыт специалистов-дальневосточников и научно-исследовательского института пчеловодства. И нас поддержали.

В основу был заложен принцип организации пчелосовхозов с минимальными затратами.

Прежде чем создавать пчелосовхозы, проводилась большая разъяснительная работа в краевых, районных организациях, совхозах, делались обстоятельные анализы, сравнения, учитывались экономические расчеты развития отрасли пчеловодства в составе многоотраслевых совхозов и в специализированном хозяйстве. Нужно в корне менять отношение к отрасли и переходить от любительских методов к новой промышленной технологии пчеловодства. Все приходило к выводу, что процесс этот длительный, но необходимый, правильный и своевременный.

С чего все началось?

подавляющая часть пасек, принадлежащих многоотраслевым совхозам районов, часто были нерентабельны. Они имели ветхие постройки и ульи разных систем, не обновлявшихся со времени коллективизации. При этом число пчелиных семей сокращалось с каждым годом, производственные планы по меду и росту пчелосемей не выполнялись, племенная работа не велась, на пасеках отсутствовал должный учет и контроль. Пасеки слабо оснащались инвентарем и оборудованием, а имеющийся в наличии совершенно не пригоден к эксплуатации.

В 1970—1979 гг. на базе пасек совхозов Залесовского, Ельцовского, Солтонского, Солонешенского, Чарышского, Красногорского, Майминского, Усть-Калманского, Целинного районов созданы специализированные пчелосовхозы. Одновременно в Павловском районе было создано районное межхозяйственное объединение по пчеловодству.

Краевой комитет партии, крайисполком, производственное управление сельского хозяйства внесли предложение по созданию новой и единой организации по руководству пчеловодства. Министерство сельского хозяйства РСФСР приняло решение о создании Алтайского краевого специализированного объединения по пчеловодству «Пчелопром».

В краевое объединение «Пчелопром» вошли девять пчелосовхозов, Барнаульского и Бийского межрайонные отделения пчеловодства, Бийский и Повалихинский (строющийся) воскозаводы.

Объединение создано своевременно, оно ближе стоит к производству, конкретнее и целенаправленно решает вопросы производства и имеющихся резервов в отрасли. В штате объединения 29 человек, из них 16 специалистов. Он укомплектован за счет бывшего отдела пчеловодства и пчеловодческих совхозов производственного управления сельского хозяйства крайисполкома (8 человек) и 14 единиц краевой конторы пчеловодства. С помощью краевых организаций объединение укомплектовано высококвалифицированными специалистами своих профессий, имеющих большой стаж практической работы в сельском хозяйстве. Все директора пчелосовхозов — специалисты с высшим образованием, многие из которых имеют большой практический опыт работы. Подавляющая часть главных специалистов пчелосовхозов, за исключением нескольких главных бухгалтеров, имеют высшее специальное образование.

Директора и главные специалисты пчелосовхозов — равно как и районные специалисты по пчелосовхозу — золотой фонд нашей отрасли, наша опора. С их помощью и через них непосредственно специалисты объединения осуществляют практическую реализацию всех мероприятий, стараясь поддержать словом и делом.

Исходя из этого, мы руководствуемся тем, чтобы как можно реже, лишь в исключительных случаях, идти на замену специалистов, не справляющихся со своими обязанностями, а при назначении используем по слову: «Семь раз примерь, один раз отрежь».

В пчелосовхозах начато строительство крупных промышленных ферм на 600—1200 пчелосемей. Уже

действуют 4, а построено 5 таких ферм, ускоренное строительство позволит изменить структуру хозяйственного управления пчеловодством, технологию производства меда, характер труда пчеловода, обеспечить приток и закрепление молодых кадров. В совхозах уделяется сейчас большое внимание внедрению средств малой механизации и в первую очередь на комплексах и звеньях. В 1980—1981 гг. хозяйства должны перейти на централизованную переработку воска. Начали комплектовать передвижные механизированные агрегаты по откачке меда. В 1979 году их работало 7. В перспективе в пчелосовхозах все пчеловодство будет сосредоточено на крупных промышленных пасаках, связь между ними и центральной усадьбой будет поддерживаться с помощью раций. А это намного улучшит и упростит организацию управления и сделает производство оперативным.

В настоящее время для совхозов и колхозов институтом пчеловодства разработана проектно-сметная документация промышленной пасеки на 600 пчелосемей.

Вместе с тем темпы развития, становления и перевода отрасли пчеловодства на промышленную технологию в совхозах пока осуществляются медленнее, чем мы бы хотели. На результатах сказываются нерешенные организационные и материально-технические вопросы, отсутствие комплексного технологического оборудования и многое другое. Пчеловоды все еще применяют старую традиционную любительскую технологию, основанную на ручном труде и индивидуальных методах работы с семьями пчел. Из 358 пасек лишь одна треть справляется с выполнением планов, недостаточно эффективно используется пашня, имеющаяся техника, материально-технические средства. Многие нужно сделать по укруплению пасек пчеловодами и закреплением среднего звена специалистов. До сих пор в пчелосовхозах на должностях руководителей среднего звена работает 14 практиков. Мало внимания уделяется переподготовке кадров. Школа стажировки не работает. Не на должном уровне подготовка специалистов среднего звена в вузах и техникумах. Не выполнены планы по подготовке механизаторов, хотя имеется дефицит в этих кадрах.

На сегодня мы знаем причины убыточности, знаем, что нужно сделать в каждом пчелосовхозе, чтобы улучшить их экономические показатели.

Пчеловоды Алтая справились со своими обязательствами в 1979 году. Однако главная работа впереди.

* * *

Начало потребления меда человеком уходит в глубокую древность. У наших предков в течение тысячелетий не было другого сладкого вещества. Он использовался в качестве пищевого продукта и медикамента от многих заболеваний. Традиция использования продуктов пчеловодства не только живет в народе до сих пор, но использование их становится обязательным компонентом в научно обоснованных рационах советского человека, рекомендованных Академией медицинских наук СССР. К сожалению, производится этого продукта еще мало — в среднем около 300 граммов на душу населения.

Мед является отличным источником энергии: в 100 граммах его содержится 315 калорий. В нем 76 процентов сахаров, из которых 74 — глюкозы и фруктозы, поступающих в кровь человека без предварительной переработки в организме.

Весьма ценным продуктом пчеловодства является также воск, до сих пор не имеющий равноценного заменителя. Его используют примерно 85 отраслей народного хозяйства.

Важным по значению является маточное молоко — питательный, высококалорийный продукт, богатый белками, жирами, витаминами, микроэлементами, активными биологическими веществами.

Пчелиный яд считают наилучшим биологическим средством для лечения ревматизма.

Прополис (пчелиный клей) применяют в качестве антисептического средства и для изготовления дезинфицирующих растворов. Народная медицина использует его в качестве средства от различных заболеваний простудного характера.

При условии получения и использования всех этих продуктов экономическая эффективность отрасли пчеловодства совхозов и колхозов края может значительно возрасти.

Так, при существующих в настоящее время заготовительных ценах на продукты пчеловодства в условиях края размер годового дохода от одной пчелиной семьи может достигнуть почти 120 рублей, тогда как фактически в среднем от реализации товарной продукции совхозы и колхозы на одну семью получают около 75 рублей. При этом наибольший удельный вес в структуре дохода принадлежит меду — 50 процентов, пыльце — 35 процентов, опылению — 9 процентов и др.

В настоящее время равнозначным меду продуктом пчеловодства считается пыльца. Природа дала в руки человека все, что нужно для его здоровья и лечения болезней. И пыльца, бесспорно, один из ее драгоценнейших даров. Она обладает высокой питательной ценностью и в этом с ней не может соперничать ни один другой продукт естественного происхождения. В том виде, в каком ее получает потребитель, она практически не содержит воды. Богатство состава заключается во всевозможных элементах, каждый из которых играет важную роль в обмене веществ, поддерживает наш организм в добром здравии.

Установлено, что в состав пыльцы входит 21 аминокислота, пептиды, энзимы, коэнзимы, дезоксирибозы (предшественники нуклеиновых кислот, контролирующих память и все клеточные процессы). В пыльце содержится около 20 процентов альбуминов, примерно 40—50 процентов аминокислот, около 30 процентов углеводов или сахаристых веществ. Пыльца является незаменимым продуктом питания пчелиной детки и взрослых пчел. Если пчелы едят мед, в котором отсутствует пыльца, то они не строят сотов, не выделяют воска, быстро гибнут, не могут воспитывать расплод. За год пчелиная семья съедает 20—26 килограммов перги.

Известно, что качество и количество потребляемой человеком пищи оказывает решающее влияние на здоровье и продолжительность его жизни. «Мы суть то, что едим», — в этом древнем изречении скрыт глубокий смысл. А продукты пчеловодства — это прежде всего составные части великой первоначальной природы.

Технология сбора пыльцы на современных пасаках не представляет сложности, а методы сушки ее уже отработаны, поэтому весь вопрос состоит в том, чтобы ускоренными темпами осуществить внедрение технологии на заводском уровне и дать этот продукт для пищевой, медицинской и парфюмерной промышленности.

Многочисленные попытки заменить пыльцу другими высококачественными продуктами окончились неудачей. Поэтому не случайно Совет Министров РСФСР установил в 1976 г. высокую закупочную цену на нее — 20 рублей за килограмм. К сожалению, в Сибири и на Алтае пыльцу не заготавливают. В то же время без ущерба для медосбора можно получать ее за сезон до 2—2,5 килограммов от каждой пчелиной семьи. Пасека в 100 семей может дать 200—250 килограммов перги на сумму 4—5 тысяч рублей. При этом окупаемость пасек значительно возрастет. Ведь только 50 процентов пчел совхозов и колхозов края, расположенных

в таежных и притаежных районах, могут обеспечить получение пыльцы в количестве не менее 140 тонн на сумму почти 3 миллиона рублей. Возможности же сибирских пасек позволяют заготавливать ее не менее 500—600 тонн в год. Алтайские пасеки, особенно таежные, могли бы производить пыльцы в несколько раз больше, чем все Прибалтийские республики нашей страны, где эти вопросы уже отработаны.

Осенью прошлого года группа специалистов пчеловодства Алтая побывала в Латвийской и Эстонской ССР с целью ознакомления с производством и переработкой продуктов пчеловодства и, в первую очередь, пыльцы. Отметим, что специалисты республиканских управлений пчеловодства и ряда хозяйств этих республик за последние десять лет проделали большую работу и многое сделали в этом отношении. Прежде всего они сконструировали и делают пыльцеуловитель, отвечающий высоким требованиям получения качественной пыльцы, организовали лаборатории, через которые ведут приемку пыльцы от хозяйств и частного сектора и определяют качество поступающей продукции, подобрали и приспособили требуемые технические средства для сушки пыльцы и ее переработки в фасованном виде и т. д. Они продолжают свой поиск, и эту работу ставят на более высокий уровень. Нам кажется, что опыт этих республик по переработке продуктов пчеловодства заслуживает самого пристального внимания и должен стать достоянием в практической деятельности колхозов и совхозов России. Этот положительный опыт с учетом наших сибирских особенностей мы будем использовать и применять у себя. В перспективе нам необходимо создать цех по переработке пыльцы в рамках краевого объединения «Пчелопром» и оснастить его требуемым оборудованием для последующей ее переработки.

Работа по расфасовке меда уже начата. В совхозе «Пчеловод» начал действовать цех по расфасовке меда. Жители Барнаула уже знакомы с этой продукцией. А сейчас с помощью специалистов АНИТИМа и инженерно-технических работников Барнаульского станкостроительного завода решается вопрос о создании расфасовочного цеха и в Барнауле. С пуском этого цеха жители краевого центра получают мед из пчелосовхозов объединения.

К сожалению, наша промышленность не выпускает требуемого оборудования для механизации трудоемких процессов, переработки и расфасовки продуктов пчеловодства. Что же касается комплектации его из имеющегося и изготавливаемого молочной, медицинской и другими отраслями промышленности, то они в большинстве своем приспособлены к иным технологическим параметрам, и их сложно приспособлять к пчеловодческой отрасли. Чтобы перевести отрасль пчеловодства на промышленную технологию, требуется создать новую производительную технику, обеспечивающую весь цикл этой технологии. Известно, что на сегодняшний день в нашей отрасли такая техника отсутствует, а время не ждет. И поэтому, на наш взгляд, для ускорения решения вопросов создания средств механизации для отрасли пчеловодства в целом необходимо объединить творческие усилия специалистов института пчеловодства, занимающихся разработкой и созданием этих средств, с инициативными группами конструкторов отдельных крупных предприятий и институтов городов Москвы, Ленинграда, Казани, Риги, Барнаула, Хабаровска и др. И главную роль в решении этой проблемы должны взять на себя Министерство сельского хозяйства РСФСР, «Пчелопром» РСФСР и институт пчеловодства.

В 1978 году в составе группы специалистов пчеловодства мне предоставилась возможность участвовать в работе международного симпозиума «Промышленное пчеловодство», проводимого в городе Тульча Румынской

Социалистической Республики. Мы посетили и познакомились с Международным институтом технологии и экономики пчеловодства АПИМОНДИИ в г. Бухаресте, ассоциацию пчеловодов Румынии, Центр и бухарестскую поликлинику апиатрии МИТЭР, комбинат ассоциации пчеловодов Румынии, на территории которой находится постоянная пчеловодная выставка, научно-исследовательский институт пчеловодства, пасеки института с промышленной технологией и пчеловодный лицей.

Благодаря большой и настойчивой работе, которую проделали многие специалисты пчеловодства, Румыния за последние годы заняла одно из ведущих мест в Европе по развитию этой отрасли и производству товарного меда. Представляют определенный интерес организационные формы управления отраслью, объединяющие практическое руководство с наукой, создание единого республиканского и уездных обществ пчеловодства, система подготовки пчеловодов и т. д. Но наибольший интерес представляет комбинат ассоциации пчеловодов Румынии и апиатерапевтическая поликлиника.

Специалисты Румынии объездили многие страны, имеющие развитое пчеловодство и, собрав все лучшее, сумели с учетом особенностей своей страны построить комбинат (численность рабочих 1000 человек), способный переработать всю продукцию, которую дают 1,1 миллиона пчелосемей.

Вся пчеловодческая продукция продается в торговле только в расфасованном виде, что резко увеличивает рентабельность отрасли.

На комбинате 10 цехов, включая цех, выпускающий экспериментальное оборудование. Здесь выпускается до 300 наименований изделий из продуктов пчеловодства, фармацевтические и парфюмерные средства, напитки и кулинарные изделия, ульеовое хозяйство и сопутствующие средства.

Создание комбината позволило централизованно переработать всю продукцию пчеловодства страны и создать впервые в мире апиатерапевтические поликлиники, где в качестве лечебных средств применяются исключительно продукты пчеловодства.

На наш взгляд, следовало бы и нам ускорить решение этого вопроса, а возможности для этого неисчерпаемы. Ведь только Сибирь в этом отношении таит в себе несметные богатства, и поставить их на службу здоровья человека — благородная задача государственной важности.

Но, к сожалению, до сих пор нет единого мнения среди медицинских учреждений относительно ценности и целесообразности использования продуктов пчеловодства как медикаментозных средств. Фармакологические исследования продуктов пчеловодства явно затянулись. Думается, что в получении, переработке и использовании новых продуктов пчеловодства и прежде всего пыльцы должны быть заинтересованы не только союзные Министерства сельского хозяйства, но и здравоохранения и пищевой промышленности.

Вопросы производства высококачественных продуктов и лекарственных средств, производимых отраслью пчеловодства, должны быть возведены в ранг государственной важности и более строгого практического разрешения, так как они будут способствовать укреплению здоровья советского человека.

Работа, начатая по реконструкции алтайского пчеловодства, позволит в ближайшие годы обеспечить увеличение производства продуктов пчеловодства и освоить получение новых и весьма важных для здоровья человека продуктов.

В этой связи перед специалистами пчеловодства края встает и другая, не менее важная задача — перерабатывать эти продукты и давать их в торгующей организации в расфасованном виде. Над этой задачей сейчас работают специалисты краевого объединения «Пчелопром».

Виктор ГОРН

„ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ — ЧЕЛОВЕК...“

(О ТВОРЧЕСТВЕ Е. ГУЩИНА)

Десять лет прошло с тех пор, как вышел первый тоненький сборник рассказов Евгения Гущина «Чепки, убивший орла» (1969), затем была повесть «Правая сторона» (1972), впоследствии выросшая в роман (1977), сборник «Луна светит, сова кричит» (1974), повесть «По сходной цене» (1975), повесть «Облава» (1978), рассказы...

Много это или мало? Не знаю. Только думаю, что можно быть автором множества книг и не быть художником: не сказать ничего нового о жизни. Судить писателя по количеству написанного — дело бесперспективное. Важнее понять, насколько глубоко проник писатель в мир человека, какие стороны многообразной движущейся жизни сумел отобразить и как сумел это сделать.

Нельзя сказать, что Е. Гущин пришел в литературу с новым, неизвестным героем. Это бывает не часто. Но очень важно то, что писатель взглянул на человека по-своему, сумел внести ту «поправку в действительность» (Л. Леонин), без которой нет настоящего произведения литературы.

Размышляя о произведениях Е. Гущина, я понял, что думаю о движении в его прозе.

Первые пробы пера Е. Гущина еще только стремятся к полноценному жанру. Они на грани рассказа. Это своеобразные «зарисовки с натуры», «эпизоды», «сценки», за которыми лишь можно угадывать будущие характеры и конфликты. Они по-своему отражают духовный опыт писателя, то, что ближе ему, душе знакомо.

Но уже в этих незатейливых «этюдах» можно увидеть точность изображаемого, верность деталей и характеристик. Как отмечали тогда рецензенты, в центре внимания многих произведений Е. Гущина человек и природа. Все так.

Но мне бы сразу хотелось уточнить. В рассказах писателя запечатлено органическое (хотя в то же время намечается и противоречивое) единство человека и природы. В этом смысле прозаика привлекает в человеке его близость к природе, способность ее чувствовать и понимать.

Таков, например, лесник Николай Краев, герой рассказа «Глухаринья ночь», открывающего сборник. У него «радости и печали — все лесом предопределяется», он «внутри понимал значение леса, а слова не давались».

Это характерно для многих героев Е. Гущина, которые накрепко связаны с природой, осознают самих себя как ее часть.

Но если попытаться обозначить общую линию творческих поисков писателя, то ее, пожалуй, можно сформулировать так: от наблюдения к постижению, анализу сложных процессов жизни. Видимо, писатель отчетливо понимает, что уже недостаточно рисовать, пусть близкие сердцу, но не самые главные события современной жизни. Поэтому ставит перед собой все более сложные эстетические задачи, ищет «столкновения» с неоднозначным материалом, отыскивает в повседневности драматические конфликты, приближается к художественному осмыслению более глубоких закономерностей и сцеплений современной действительности.

Но вернемся к рассказу «Глухаринья ночь». Уже в нем вырывает одна из существенных идей прозы Е. Гущина. Вглядываясь пристально в этот незатейливый мир, кажется, начинаешь понимать, с чего он начинается, на чем держится.

Отправляясь вместе с Николаем Краевым на глухаринный ток (сфотографировать глухарей), его

спутники обеспокоены тем, что глухари могут пойти другое место для тока. Лес-то большой.

«— Лес-то, верно, большой, — сказал со значением Николай, — и полян хватает, — продолжал почти сердито, — да только у каждой птицы, зверя свое любимое место. Красивше есть, а роднее — нету. Где первое гнездо или нора — там и дом... Да что птица... Возьми человека...»

Если «взять» героев писателя, то нетрудно заметить, как много у них связано с родными местами, с родным домом, с памятью, с тем, что «сызмальства привычное, знакомое».

«Раньше-то люди к дому крепко прирастали. Боялись в чужие края», — говорит старик из рассказа «Ночь, в ожидании паромы». И дальше о своей старухе: «Мать, как услышала про бульдозер, еще пуще заупрямилась. Из избы не выходит. Сносите, говорит, меня вместе с домом.»

...Родилась в этой избе. Каждая плаха родная.

И вот писатель посвящает этой теме рассказ «Старый дом». Старика Гаврилыча, которому в его старом доме тоже «каждая плаха родная», хотят переселить в однокомнатную квартиру городского типа. Писатель точно передает внутреннее состояние своего героя, у которого и оставалось только прошлое, предвзятое повествование развернутой метафорой с шубой. Сколько уж раз хотел Гаврилыч бросить ее к порогу. Да жаль было. «Шуба многие годы охраняла Гаврилыча от ветра и снега, от морозов, и вдруг под ноги — грязные сапоги обшаркивать. Не по справедливости. В стужу она, ясное дело, уже плохой помощник, а в избе иной раз накинуть на плечи — ничего, пригреет. И вообще новую еще обнашивать надо, да привыкать к ней. Повесил как-то старую на гвоздь, отошел — похожа на хозяйина: выгнула спину сутуло, и рукава вперед тянутся, гнутые в локтях. Того и гляди, соскочит с гвоздя и заковыляет по улице. А кто из соседей глянет и подумает: Гаврилыч куда-то подался».

Рушат старый дом Гаврилыча, и вместе с ним чуть не обрывают жизнь старика.

«Гаврилыч лежал в пыльной траве. Лежал на боку, неловко повернув руку. Из маленького кулака торчал поблескивающий ключ».

По какой-то невольной ассоциации возникает в памяти такая картина из повести В. Распутина «Последний срок»: «Не верилось, что изба может пережить стару-

ху и остаться на своем месте после нее — похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты и держатся только благодаря друг друга».

Образ дома так или иначе проходит через многие произведения Е. Гуцвина. И чем больше вглядываешься в художественный мир, созданный писателем, тем отчетливее понимаешь, что в контексте творчества Е. Гуцвина ДОМ — не только стены и крыша над головой, а то, с чем связана жизнь человека, корни его, то единственное место, которого роднее нету и без которого трудно ему, нет крепки в его душе. Это и земля, и родина, и память, и те нравственные принципы, которые отличают человека.

У Ф. Абрамова в романе «Дом» звучит такая мысль: «Главный-то дом человек в душе себя строит. И тот ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов...»

Я не хочу сказать, что Е. Гуцвин ставит этот вопрос также широко и остро, как Ф. Абрамов или В. Распутин, но то, что образ дома проходит через всю прозу, что волнует и постоянно тревожит писателя, несомненно.

Дом в рассказах Е. Гуцвина одушевлен: «Он как человек».

Тяжело на душе у героя рассказа «Красные лысы» Ивана перед разговором с Верой, его неожиданной юной любовью. И вот одна из картин, при помощи которой Е. Гуцвин передает это настроение, состояние: «Жил Иван на краю села. Не старый еще был у него дом, всего семь лет как поставил, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на крыше облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карниза. Давно его оторвало ветром. По ночам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, а у того руки не доходят — залезть и прибить. Ключья черного, пересохшего мха торчат между бревен — повывлазили. Самое бы время перед зимой-то подконопатить стены паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он поглядел пристально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и беспризорным, будто и мужика в нем нет».

Один из лучших первых рассказов Е. Гуцвина «Трамвайщица» — повествование о молодой девушке, оторвавшейся от родного дома и уехавшей в город. Многие советские писатели (В. Шукшин, Ф. Абрамов, И. Дру-

це, В. Распутин и др.) изобразили в своих произведениях сложные, порой болезненные, драматические стороны этого процесса, показали изнутри трудности социально-психологической адаптации сельского жителя в городе.

Шура, героиня рассказа Е. Гуцвина, тоже, если выразиться языком социологов, так называемая «маргинальная» личность.

Писатель отразил самое начало вживания деревенской девочки в городскую жизнь, и очень точно показал постепенное разрушение первоначальных иллюзий, которые характерны для многих переселенцев в город.

Уезжая в город, Шура «видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе, не знала, и чем заниматься будет в конторе, тоже не представляла, лишь чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселые». Город виделся героине «беззаботным, сотканным из одних радостей».

Все оказалось не так. Работа кондуктором в трамвае, простуженный и грубый голос, частная квартира. И вместо королевича, который грезился в песне матери и представлялся «высоким, чернявым, очень обходительным городским человеком», Володька, неприкаянный и беспутный.

Как сложится дальнейшая судьба Шуры? Не затеряется она в огромном мире? Разрушится ли окончательно в ней нравственная опора, которая с потерей дома слабеет? Писатель, пожалуй, не ставил перед собой таких вопросов, говоря о конкретной судьбе молодой девушки, но нас эта судьба, взволновав, заставила задуматься. Тем более, что в литературе можно найти дальнейшую художественную разработку в чем-то аналогичной судьбы (например, «Алька» Ф. Абрамова).

Что ж, человека, по-видимому, всегда будут манить иные города и страны.

И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу ни бывал...

(Н. Рубцов)

А может быть, за самым главным, самым дорогим и лучшим не надо «ездить так далеко»?

Как это нередко бывает, первый роман писателя вообрал в себя многие проблемы, характеры, эпизоды предыдущих произведений. Человек и природа — так определяют тему романа Е. Гуцвина «Правая сторона». Уже говорилось, взаимоотношение человека и природы — важный мо-

тив творчества писателя. Более того, у него есть великолепный рассказ «Волчья кровь», в котором с удивительной художественной достоверностью передан внутренний мир двух волков.

Но тем не менее по отношению к роману это обозначение носит условный, «рабочий» характер и, конечно же, не передает его основного пафоса.

Роман — жанр многоплановый. В этом смысле роман Е. Гуцвина «Правая сторона» неравноценен. Его структура, пожалуй, рыхловата, авторская мысль не всегда находит должную глубину, садится на мель. Порой прорывается несвойственная, как мне кажется, таланту Е. Гуцвина сентиментальность. Удивительно для автора «Красных лыс», но страницы о любви — одни из самых слабых в романе.

Об этом произведении критика уже успела сказать свое слово, отметить достоинства и недостатки. Но в основном речь шла о первой части романа, вышедшей в 1972 году. В 1977 г. читатель получил роман целиком. И многое зазвучало по-иному. Углубился взгляд писателя. Претерпели эволюцию и главные персонажи: Стригунов, Рытов, Глухов, Клубков. И, думаю, заметнее стало главное в произведении: взаимоотношения людей, социально-нравственные и философские поиски, которые обнажаются на этом материале.

Конечно же, роман Е. Гуцвина ставит и серьезнейшую проблему современности: отношение человека к природе. Уже сама по себе эта тема заслуживает большого разговора, что и объясняет острый интерес к ней советской литературы (например, произведения В. Астафьева, С. Залыгина, В. Белова, В. Распутина, Е. Носова и др.). И естественно, что роман Е. Гуцвина пронизывает человеческое беспокойство за судьбу уникального озера, тайги, окружающей его. В романе тревожно звучит вопрос о том, где же мера правильного отношения к природе. Как сделать, чтобы после нас «детям голая земля не осталась» (В. Астафьев).

Но если бы в произведении Е. Гуцвина были поставлены только проблемы, так сказать, «экологические», то оно вряд ли отличалось от множества подобных произведений, а скорее уступало в чем-то лучшим образцам советской литературы.

Е. Гуцвин, как мне представляется, изображает природу лишь постольку, поскольку она дает ему необходимый материал для исследования природы человека.

Ведь если вдуматься, то у писателя Е. Гущина ПРИРОДА — это ведь тоже ДОМ (или органическая часть его). Человек живет в этом доме, он в нем хозяин. Но какой? Достаточно ли мудрый? Не разрушает ли он свой ДОМ торопливыми руками, чтобы на его месте воздвигнуть ЖИЛПЛОЩАДЬ?..

И если недавно были в чести броские афоризмы вроде: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», то теперь мы все отчетливее понимаем, что человек — органическое продолжение природы, что природа не средство для самоутверждения личности, а разрушая ее, мы разрушаем себя и в себе.

В повести В. Распутина «Прощание с Матерой»¹ старуха Дарья спорит с внуком. «Человек — царь природы», — произносит Андрей. «Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет», — отвечает ему Дарья.

На страницы романа «Правая сторона», напрямую касающиеся этих вопросов, вторгаются публицистические мотивы. (Это, кстати, свойство, присущее современному литературному процессу и его проявления можно обнаружить, например, и в прозе В. Астафьева («Царь-рыба»), и В. Распутина («Прощание с Матерой»), и С. Залыгина («Комиссия»). Правда, тут важна мера органичности эстетического и публицистического.)

Вот характерные размышления, например, Ивана Рытова: «Сколько облысело склонов, покрытых теперь бесчисленными пенечками, как крестами, сколько речек вышло из берегов и заболотило низины между хребтами, какие страшные буреломы оставили после себя вальщики! Такого ни одной буре не натворить.

А ведь настанет время, пожалеем о своей недалекости, машин хитроумных будет много, никого ими не удивить, а вот тайга — ее заново не сделаемь...»

Собственно, это доказывают и расчеты современных ученых: «Природа дороже денег, всего золота и камней мира, ибо без нее мы как «хвост без кота»».

Разные герои предстают перед нами в романе, неодинаково их

¹ Следует сказать, имя В. Распутина, как и некоторых писателей, названных выше, упоминается не случайно. Думается, что Е. Гущина они близки по духу, по своим творческим установкам.

² Сб. «Литература и современность», 1978, № 16, с. 324.

отношение к проблемам заповедной стороны, по-разному он ведут борьбу за свои позиции, выказывая свое понимание не только ценностей природы, но и жизни вообще.

В этом смысле романную силу, художественный драматизм, философскую напряженность произведение набирает именно во второй части, где остро ставятся проблемы добра и зла, правды и неправды, возникает вопрос о нравственных последствиях человеческой вседозволенности...

Нелегко дуть становления молодого помощника лесничего Артема Стригунова. В заповедник он приезжает человеком, духовно и нравственно еще не определившим свои жизненные позиции, с внутренним ощущением, что здесь «все стерильно». В смысле — честно, без обмана».

Художественное решение становления личности всегда сложно, содержит в себе множество аспектов. У Гущина — это, в первую очередь, влияние окружающего мира, тех необходимых, новых для героя условий жизни, в которые он попадает, и влияние одного человека на другого.

Надо сказать, что иллюзии Артема Стригунова разрушаются довольно быстро. Он часто оказывается перед выбором, перед необходимостью самому разобратся в происходящих событиях, дать им нравственную оценку.

Быть может, самое существенное воздействие на героя оказывают два человека — это лесничий Иван Рытов и «браконьер» Клубков. И это не случайно, именно с ними, в сущности, связаны основные идейные центры романа.

Столкновение этих персонажей носит прежде всего социально-нравственный и философский характер. Что есть добро и зло? Каковы последствия зла? Все ли средства годны для утверждения своей правды? И может ли быть правда только на чьей-нибудь стороне?

Непроста судьба Ивана Рытова, сложен его характер. Хотя кажется, чего тут сложного: честный, принципиальный, сдержанный и т. д. Но... Почему же тогда ловишь себя на мысли, что нет у тебя глубокого понимания, любви к этому человеку? Почему он порой вызывает даже неприязнь, при таком-то наборе абсолютно «положительных» черт?

Художник именно тогда только художник, когда показывает не плакатность, однослойность характера, а его многозначность. Е. Гущин, по-моему, умеет увидеть, что иногда и «стерильная»

правильность оборачивается против самой себя.

Писатель то здесь, то там ненавязчиво «бросает» детали, заставляющие задуматься.

Вот как, например, он пишет: «Они вместе ходили в кино, в концертные залы, где Иван открывенно скучал, слушая симфонии...»

Могут возразить: «Ну и что? Бывает. Мало ли...» и т. п. Действительно бывает! Но когда такая деталь возникает в художественном мире писателя, она может прозвучать симптоматично (ведь в это время Иван любит!). Не грех тут вспомнить героя рассказа «Красные листья», который наоборот, почувствовав в себе любовь, услышал музыку в душе, и симфонии открылись перед ним своим богатством.

Нет, не случайны такие детали в творчестве художника!

Да и полно, всегда ли, во всех ли случаях принципиален Иван Рытов? Поймал он как-то с сетью райисполкомовского инспектора, но акт не составил и сеть не отобрал. А ведь «попадись на браконьерстве простой мужик — все бы сделал как надо. И сети бы отобрал, и акт бы составил, и в контору притащил».

Но ведь это он, Иван Рытов, поучает Артема Стригунова: браконьеров ловить надо «в городе, в деревне, в тайге — везде не давать им плодиться».

Это он произносит свое кредо: «Люблю злых, колючих. Наверно, потому, что сам такой», «Надо уметь цапаться за свою идею».

Но в состоянии озлобленности можно напутать, обознаться, не увидеть нравственные последствия своих поступков.

Недаром на страницах романа мы сталкиваемся с пренебрежительным невниманием лесничего к конкретному человеку, его внутреннему миру.

«...Иван никогда не задумывался, как вести себя с Гаврилой Афанасьевичем. Старик да старик, какую с ним разводить дипломатию».

Нетерпимость, неумение или нежелание понять другого приводит к тому, что Рытов, в сущности, оказывается на стороне зла, способствуя тому, что Клубкова выселяют «обманом из родного дома».

И вот, оставшись один на один с Рытовым, Клубков, до этого долго искавший встречи с ним, жаждавший мести, вместо этого «судит» его «с позиций правды и справедливости».

«...Как ты считаешь, правильно вы тот раз сделали? По-людски или нет? Что воду по сухому

рукаву пустили? Что границу свою за мой дом передвинули? Что смухлевали?

— Правильно.

— И совесть не грызла? Ни единой минуты?

— Ни единой...

Уверенно, не сомневаясь, возражает Рытов Клубкову, считая, что вся правда у нас «в тишине да покое».

Категоричность Рытова в суждениях, убежденность в том, что его правда — вся правда, оказывается враждебной самой жизни.

«Она одна, правда... Она не может в одном каком-то месте собраться. Она везде есть. Вот как солнышко светит, его лучи всюду попадают, все живет этим светом. Всякая лесная тварь, даже малые букашки. В самое что ни есть глухое ущелье и то солнышко заглядывает. Даже сюда, ко мне, и то попадает, ненадолго, а попадает, чтобы увидеть его и обрадовался. И когда кто говорит, что вся правда у него находится, то это уже и есть неправда, несправедливость. Потому что она слишком большая, чтобы одним рукам удержать... Сила и правда не одно и то же. Силе всегда кажется, что правда на ее стороне. Ей и самой так кажется, и другим она приказывает так верить. А кто не верит, так того линком по одному месту...»

Нет, не может быть доступна вся правда одному человеку, не может он считать себя единственным и непререкаемым ее обладателем. Иван Рытов, поступая по законам только своей справедливости (а она-то тоже оказывается избирательной!), ошибается, думая, что только она и соответствует истинной и необходимой правде дела.

Авторская мысль здесь серьезна и глубока. Жизнь оказывается сложнее некоторых представлений о ней. Человек тоже. Неслучайно писатель наделяет именно Клубкова по-своему значительными словами: «Это целая жизнь — человек...» За этой мыслью и стоит целая жизнь, стоят приобретения и потери, стоит надежда на будущее...

Нереализованная человечность оборачивается против самого Ивана Рытова. Писатель доводит повествование до большого художественного напряжения, стремясь показать, как жестоко может сложиться судьба человека, который сам в свою очередь нетерпим по отношению к другим людям.

Правда, принципиальность и человечность неразъединимы!

Писатель заставляет читате-

ля задуматься над тем, каков нравственный смысл случившегося с Рытовым. Во всем ли он был прав в отношении к Клубкову да и к людям вообще? И если прав, то почему тогда распадается связь с людьми, почему сдвинулось что-то в душе и мучает...

И здесь образ набирает новую силу, поворачивается новыми гранями, внутренне драматизируется, становится еще более художественно многоплановым и убедительным. Если раньше Иван Рытов не тревожил себя мыслью о том, какой он, не задумывался над нравственными последствиями своих поступков и слов, то после, я бы сказал, принципиально важного для всей художественной атмосферы романа спора с Клубковым, Рытова начинают одолевать сомнения: «Злой... А может, со стороны виднее? Может, и на самом деле озлился он на всех и вся?»

...Неужели и на самом деле рассеяна она (правда — В. Г.), как солнце, повсюду? И по правой стороне, и даже по левой.

Не знаю, не знаю... Первый раз в жизни — не знаю...

Такое «незнание» говорит о внутренних сдвигах в душе, о новом художественном качестве эволюции персонажа.

Но наибольшей удачей писателя, несомненно, является образ Клубкова. Со страниц романа встает сложный, неоднозначный характер. Судьба героя складывается поистине драматично. Причем, как всякий настоящий художник, Е. Гуцин любит своего героя, т. е. понимает его изнутри, в то же время, разумеется, не идеализирует его.

Клубков — не алчный браконьер, не похож он на тех плакатных злодеев, над которыми пронизывает автор: «Воображение услужливо нарисовало то, что не мог увидеть сквозь тьму: идет к его кедру браконьер — низкий корявый мужик в кирзовых сапогах, в стеганой телогрейке и зимней шапке. Он небрит. Бритым браконьера Артем представить не мог. На всех плакатах, которые ему довелось видеть, браконьер — молод, стар ли — с недельной щетиной на красносом лице».

Да и вообще, если вдуматься, браконьер ли Клубков в том значении слова, какое мы вкладываем в него теперь? Не амнистируя своего героя, писатель дает нам неоднозначный материал для раздумий.

Ведь в словах Клубкова есть своя правда: «...Ты меня с ним, браконьером, не путай, Артемий, сильно мне это обидно. Я почему

марала на зиму завалил? Потому что с голоду помирать не хочу. Я мясом не торгую на базаре в Ключах. Я тайгой живу. Дед мой так жил, отец жил, теперь я так живу. Мне чем-то другим, кроме как промыслом, кормить себя несподручно. Валить лес не хочу. Поперек души мне — живой лес валить. Окром тайги, мне ничего не остается. Только она, родная...»

Из рода в род жили тайгой Клубковы и чувствовали себя в ней хозяевами, и распорядились в тайге умело, по-хозяйски. Добывали на прокорм семьи ну и в запас, на черный день немного, меру знали. Угодья свои подчистую не облавливали. А когда «шишковали», то опять бережно. Ветки зря не ломали. Боялись: отец увидит — отхлещет хворостинной, приговаривая: «Не пакости в тайге, не пакости!»

Каким контрастом звучат слова писателя о бригадах шишкочастников, которые, не задумываясь, валят деревья, чтобы обратить с вершины десяток-другой шишек. И по-своему закономерен тот неутешительный вывод, к которому в конце романа придет Артем Стригунов: «Клубков — браконьер? Да он ангел по сравнению с рудоуправлением. Или леспрохозом. Кого из них больше тайге бояться?»

Ко многим важным мыслям приходит и Клубков в конце жизни. Испытав несправедливость со стороны людей, он понимает, что и сам жил, презирая людские законы. И все чаще всматривается в себя:

«Злость-то, она жизни не подмога. Это я по себе знаю. Как только обозлешь шишко, так и прахом все идет».

Осталась в нем «душа человека», а ее к родным местам тянет и не найти «успокоения» на чужом месте. Несчастье заставило Клубкова размышлять, а значит развиваться в духовном отношении.

Такой взгляд писателя на своего героя — верный признак глубины его гуманистических установок. Человек неоднозначен и «текуч», и Е. Гуцин убедительно доказывает это образом Клубкова.

Вот почему в Артеме Стригунове «надолго останется боль за Клубковых, за их трудную жизнь, и вину свою перед ними он всегда будет помнить».

Е. Гуцин пристально вглядывается в человека, все чаще пытается рассмотреть его с разных сторон, избегая упрощения и схематизма. Причем в центре внимания писателя герой, которого у

нас не совсем удачно называют «простым», «обыкновенным». В то же время для Е. Гущина характерно умение раздвинуть границы обыденного, увидеть значительность обыкновенного. В его художественном мире точно и порой неожиданно сочетаются быт, верная жизненная деталь и обобщение.

В этом плане рассказ и повесть оказались, по-моему, жанрами, в которых он чувствует себя увереннее, умея на небольшом «пятачке» создать художественное пространство.

Казалось бы, уже вдоль и поперек исследован в искусстве характер «странного человека». Корни этого характера уходят далеко в глубь народной культуры. И советские писатели — М. Горький, М. Шолохов, Ю. Казаков, В. Липатов и, конечно, В. Шукшин — также обращались к нему. Пласт распахан так глубоко, что писатель может незаметно для себя сбиться на проторенную колею.

И тем не менее, когда я прочитал один из лучших, на мой взгляд, рассказов Е. Гущина «Тень стрекозы», то понял, что без него мое представление об этом человеческом типе было бы неполным.

Рассказ о том, какие «удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок». Жил столяр Василий Атясов неспешно и тихо, без тревог, ровно, умеренно. И вдруг «все сбилось с привычного хода». Одолело Атясова неизъяснимое желание сделать вертолет и полететь на нем. Прямо душа разрывается.

Рассказывая об этом эпизоде из жизни своего героя, писатель открывает в нем то, что было глубоко запрятано и неизвестно даже ему самому. Сила происходящего с Василием огромна. Недаром он кричит жене: «Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человеком буду».

«Тень стрекозы» — повествование (воспользуюсь точной мыслью В. Шукшина) о том, что «душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не горела...»

Поступок Атясова и есть желание не внешнего, показного (положим, через вещи), а внутреннего самоутверждения. Недаром герой восклицает: «Да я, может, еще и не это могу!»

Рассказ Е. Гущина написан мастерски, в силу чего судьба героя воспринимается, как своеобраз-

ная. Но в то же время в ней заключены типические черты:

«...у каждого мужика есть какая-то отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится».

Более того, изображенное Е. Гущиным — вообще в природе русского национального характера. Например, в романе Л. Леонидова «Вор» есть эпизод об одном мужике, который «близ японской войны велосипед деревянный построил... С пустячка дело началось, с заграничной картинки: далась ему эта штука, спит — видит, даже сохнуть с азарту стал. Иной в церкву идет, другой в огороде овощ растит, а этот мастертит себе дубовый велосипед. Годов шесть, семь ли руки прикладал и ведь поехал под конец... на целых полверсты хватило... После чего сгорела его машинна, развеселим таким огоньком! И как отболело это у него, то стал он обыкновенный мужик...»

Вот и Василий Атясов, когда стоял над своим разбитым вертолетом, «почувствовал не боль и отчаяние, а облегчение». «И снова ладно и тихо стало в доме Атясовых. Но когда Василий уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу» (какая верная деталь, передающая взгляд именно столяра), глядел на небо, то сердце заходило непонятно от чего.

«Вот такая стояла осень...»

Так неожиданно и, я бы сказал, музыкально точно кончает свой рассказ Е. Гушин, расширяя его художественное пространство и оставляя в душе какое-то необъяснимое чувство...

Новый заход к этой теме — великолепный рассказ «Красные лисы». Неожиданная любовь разбудила душу Ивана, наполнила ее необычным светом, музыкой, открыла глаза на красоту окружающего мира...

Вообще это существенная особенность поэтики прозы Е. Гущина. Странительство вертолета расстраивает спокойное течение жизни героя и открывает в нем ранее неведомое.

Внезапная любовь нарушает привычные круги жизни Ивана... Создание заповедника заставило по-новому строить свои отношения людей с природой, разрушая обыденное сознание.

Странительство дачи в короткий срок сломало размеренное существование Семена Табакаева и т. д. В лучших своих произведениях Е. Гушин уделяет особое внимание не событиям, а их раз-

понаправленному воздействию на человека. Писатель берет небольшой временной период в жизни своих героев, и чаще всего такой, в котором, как в фокусе, высвечивается внутренний мир персонажа, его скрытые душевные силы.

Повесть Е. Гущина «По сходной цене» вызвала, пожалуй, самый большой читательский и критический резонанс. Напечатанная в журнале «Наш современник» (1975, № 8) и получившая премию этого журнала, она не оставила равнодушной, так как затронула важные моменты общественной жизни.

Внешний сюжет ее прост и непритязателен, автор исследует характеры на своеобразном «бытовом пятачке»: рассказывает о вполне обычной для наших дней ситуации — покупке дачи.

Какой высокий общечеловеческий смысл может нести такая «ограниченность сектора наблюдения»? Какие нравственные пружины нашего времени могут быть сокрыты в естественном желании жить лучше, чем раньше (желании, надо отметить, при общем росте материального благосостояния, обеспеченном реальными работами XXIV и XXV съездов КПСС, вполне закономерном)?

Оказывается, можно. И повесть Е. Гущина — одно из тех произведений, которое по-своему доказывает это. Вообще современная проза не чуждается быта и конфликтов, заложенных в нем, а, наоборот, все пристальнее всматривается в то, как проявляется, ведет себя человек в личной сфере жизни, размышляет над тем, способен ли он, пользуясь словами драматурга Виктора Розова, выдержать «испытание на сытость».

Повесть «По сходной цене» легко вписывается в произведение подобного рода, в то же время по-своему «продолжая» начатый ими разговор. Автор намеренно локализирует круг изображаемых событий, чтобы читатель мог отчетливее увидеть ту невидимую грань, когда происходит нравственный «обмен» в человеке.

Писатель в который раз исследует своего персонажа в новой для него ситуации, пытается понять, как совмещаются в человеке разные качества, как меняется он, если посмотреть на него «начала с одной стороны, потом с другой, не видимой никому...»

В повести «По сходной цене» автор словно задается целью представить такой эксперимент: взглянуть «с другого бока» на Семена Табакаева, бригадира механического участка, хорошего и уважа-

емого на производстве человека.

Приобретение дачи и оказывается той лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяется персонаж.

Все началось с того, что однажды случайно «напросился» Табакаев на дачу к своему рабочему Долгову. Понравилось жене и Семену в Залесихе, и решили они (под давлением жены) на покупку собственной дачи. С этого и пошла цепная реакция событий.

В доме, который они примеривались купить по совету Долговых, жила старуха Петровна. И с этим домом, и с черемухой, которую оставил как память, уходя на фронт, ее сын, у Петровны была связана вся жизнь. Нужно было сделать так, чтобы старуха переехала в город к дочери и продала дом. А для этого, оказалось, нужно достать путевку в садик. Семен предлагает свои услуги — достать такую путевку (хотя работал он на другом предприятии). И вот Е. Гушин, для поэтики которого характерна точная деталь, фиксирует первые изменения, происходящие в Семене: «У него даже походка изменилась: старался идти тяжело, враскачку, с достоинством».

Автор скрупулезно, не спеша, как бы даже «взвешивая» обнаруживает малейшие оттенки в поступках, размышлениях и переживаниях Табакаева. И мы вслед за ним замечаем, как Семен «наивничает», когда это ему выгодно, а когда обманывает мастера, «радуется той силе, что привела его сюда и говорила сейчас за него». Видим, как Семен задним числом «жалует себя за лишние переживания».

И вот уже смолчал Табакаев, когда жена Долгова рассказала гнусную историю о том, как она обманула Петровну, сказав, что к ней в колодец мальчишки подбросили дохлую кошку, и старухе пришлось таскать воду из речки.

Так шаг за шагом писатель показывает взаимосвязь поступков Семена, которые он совершал вроде бы под давлением обстоятельств и изменений, накапливаемых в его душе. Тем самым увлекает нас в непростой психологический процесс. Ведь, в сущности, в этой повести писателя мало интересуют Долговы. Тут все до страшного просто. «Долговщина» тем и страшна, что отчуждена от одной конкретной личности, что разъедает многих, вырабатывая свою, хотя и примитивную систему взглядов.

Поэтому образы Долгова и его жены статичны. Долговы — это конечный результат процесса.

Они не способны обращаться с нравственными вопросами к себе, т. е. лишены нравственности, которая находится всегда в движении. Поэтому писатель и не скрывает своего отношения к Долгову с первой страницы.

Откровенно говоря, поначалу воспринимашь такой авторский «нажим» как недостаток, как торопливое желание объяснить кто есть кто. Но, вчитываясь в произведение, начинаешь догадываться, что это сделано намеренно.

Долговы — из «умеющих жить», у них железная хватка, для них все ценности мира определяются конкретной мерой материального благополучия. Дача, машина, гарнитур и прочая, и прочая — для долговых единственная реальность, конечная цель и смысл бытия. Кроме того, Е. Гушин не случайно «сужает» поле зрения: остальные дачники даны штрихами, которые лишь подчеркивают жизненную ценность долговщины, ее социальную опасность: «...внизу заудела невидимая в сумерках машина, судя по звуку, грузовая. Она остановилась вверху возле одного из новых домов. Послышался негромкий говор людей, которые стали сгружать что-то тяжелое, что именно — не разглядеть, потому что фары зажжены не были, мерцали лишь красные фонарики стоп-сигнала. Свет людям, как видно, был совсем ни к чему».

Долговщина и тем еще страшна, что неуязвима и обыденна.

Будучи художником-аналитиком, Е. Гушин стремится дойти до невидимых пластов человеческой личности, испытать ее нравственную надежность, способность выдерживать, устоять перед опустошающим давлением долговщины.

...Растет дача, которую строит Семен, но усиливается и неопределенное беспокойство в душе героя и толкает его к Долгову с вопросами: «Ты как спишь? Спокойно?.. Душа у тебя спокойная? Не будит тебя?»

Он начинает понимать, что «душой убит» за это время и боится «совсем без души остаться».

Но вот что удивительно: все эти вспышки быстро гаснут, т. к. не имеют источников внутри себя. Через несколько страниц, вслед за «большими» вопросами, которые приходят к Табакаеву, мы вдруг читаем: «Дача неожиданно для него самого захватила Семена. На работе ему было приятно думать, что в пятницу ехать в Залесиху. Подумает об этом — и теплая волна плеснется в сердце... Легко и светло будет в душе от того,

что все городские заботы как бы останутся за порогом леса. В деревне его ждут новые заботы. Они не тяготят, а наполняют тихой радостью...»

И уже вечерний перестук топоров не раздражал Семена, как вначале, не лишил его спокойствия, а вливался в общий шум стройки. «Вот какие перемены могут произойти с человеком», — восклицаем мы вслед за писателем. Но и этого писателю, кажется, мало, он тоже как бы задается вопросами: А что же дальше? Что там еще припрятано в душе Семена Табакаева?

И следующее испытание оставляет терпкий, горький осадок в душе читателя. Семен сплывает черемуху, может быть, последнюю ниточку, связывающую старуху с жизнью...

Чуть позже писатель создает такую емкую картину: «...Старуха поискала глазами, словно дерево могло куда-то отлучиться, но разглядела наконец низкий пенек возле скамейки. Ему она и поклонилась».

— Ну, видно, и мне пора, — произнесла она со вздохом и пошла прочь, сгибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь земле».

Но, как всегда, «Семен пилил и утешал себя, уговаривал... а где-то в самом темном уголке души мердалось непонятное облегчение...»

Непадалого пришли сомнения и вновь легко ушли, и он уже нежно говорит жене: «Ира, пошли погуляем».

И снова: «Тихо и покойно шла жизнь, ничего не выбивало ее из наезженной колес...»

Что же случилось с Семеном Табакаевым?

Семен из тех героев, которые ищут причину своих бед, своих духовных и душевных компромиссов вне себя, в других. А нередко они оказываются внутри, кроются в собственной инертности, уступчивости, несопротивляемости. В конечном счете Табакаев из тех людей, которые всегда самоустраиваются, плывут по течению, боясь нарушить собственное «спокойствие и устоявшийся порядок» жизни. А ведь, в сущности, легко так-то: можно не вмешиваться в воспитание сына, не принимать самому решений, т. е. затрачивать минимум душевной энергии.

Табакаев — мастер компромиссов, но, как известно, ничто не проходит бесследно, и мы видим, как сделки с совестью, как снятие «вопросов» оборачиваются «убыванием души». Не потому ли Табакаев бежит с канистрой бензина к даче Долгова, что тем са-

мым, в который раз, стремится снять ответственность с себя?..

«Я через тебя нечеловеком стал!» — кричит он Долгову.

Финал, по-моему, лишний раз доказывает, что бунт Табакаева (кстати, и победил он к Долговым), временный, внешний, он быстро пройдет. «Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь» (К. Маркс). Гнев же Семена опять-таки направлен вовне...

Нет, нельзя объяснить происшедшее с Семеном формулой «обстоятельства засли», «дал когда-то слабину, вот она и завела...» В нем самом не оказалось внутренней крепости, «крылья не отросли»; в его бытии не было **внутреннего направления**. Видимо, и раньше была в душе Семена какая-то пустота, не обнаруживающая себя до поры до времени. Недаром он признается: «Скучно мне жить... недостает мне чего-то...»

И, может быть, не случайно то, что, рассказывая о судьбе Табакаева, Е. Гушин вновь использует образ Дома.

«...И вдруг Семену показалось, что сам он никакой радости к квартирам, в которых довелось жить, никогда не чувствовал... Да и какую можно чувствовать ответственность к месту, которое и называется по-казенному: жилплощадь?»

...А вот Петровна Ванюшка, наверное, даже умирая, помнил свою родную избу. По ночам она ему снилась, и как он хотел в нее воротиться. Ведь там каждая плаха родная, отцом отгесана. Изба эта невидная и была для Ванюшки родиной, или уж во всяком случае отсюда для него начиналась родина...»

Но у каждого человека должно быть «самое святое место», куда его манит всю жизнь, или должна жить в душе музыка, должна быть какая-то отдушина... Тот дом, который (вспомним Ф. Абрамова) «человек в душе себя строит» и который «ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов...»

Не было у Табакаева ничего этого: он больше всего ценил в жизни спокойствие...

И насколько духовно богаче Семена выглядит старуха (образом которой и произносит свой окончательный приговор над Табакаевым писатель), в которой живет память...

Подчеркивая простоту и будничность истории, происшедшей с Табакаевым, автор «указывает

на ее страшный для человека смысл. Именно о духовных и нравственных ценностях человека и общества все чаще размышляет сегодня писатель. Совесть, честность, правда, добро — те нравственные категории, которыми он проверяет своих героев.

Е. Гушин неуклонно разрабатывает социально-нравственные проблемы, отыскивая новый угол зрения на человека. Такова остро-конфликтная повесть «Облава» («Алтай», 1978 г.). Е. Гушин не боится повторять уже испытанные приемы своей поэтики, не боится повторять некоторые сюжетные ходы и стилистические решения, так как они мобильны и становятся адекватны новой мысли, новому человеку, с которым он обращается к читателю. Структурная организация повести «Облава» уже знакома: события развиваются в короткий промежуток времени, когда нарушен привычный порядок жизни и герой оказывается перед вопросами, через которые проверяется его нравственное состояние.

Это художественно закономерный прием, позволяющий сконцентрировать, обострить жизненные коллизии и с большей отчетливостью обнаружить то, что невидимо поверхностному взгляду.

Е. Гушин, как обычно, без долгих предисловий вводит читателя в повествование. Но уже сам материал напряжен, неожидан для читателя. Писатель начинает рассказ об отношениях человека и его вечного друга собаки с того момента, когда эти отношения доведены до критической точки. И пристально вглядывается в поведение человека, в нравственные следствия его поступков.

А начало этим отношениям было положено, когда в Счастливице (бывшей Горюнихе) организовали рудник и охотники забрали свое занятие и перешли на «твердую зарплату». Но собак по привычке держали. И стало в Счастливице «как бы два общества, независимые друг от друга: человеческое и собачье». Собаки же, воспитанные веками на охоте, на промысле, оказались предоставлены самим себе, и по древнему зову крови стали промышленным скотом. Этим они «будто бы напоминали людям об их отступничестве», бросали им «какой-то ясно уловимый вызов».

Вообще следует отметить, что уже в романе «Правая сторона» промелькнул однажды эпизод, в котором можно обнаружить зерно будущей повести. Присхав в Ключи, новый поселок, который также вырос после того, как здесь был

образован рудник, герои замечают обилие собак на его улицах: «...и в одиночку, и стаями бродили тут огромные лохматые лайки, не обращая на людей никакого внимания. Крупный рыжий кобель неподвижно стоял посреди улицы и, будто задумавшись, глядел куда-то вдаль. Он едва посторонился, давая самосвалу дорогу. Шофер добродушно ругнулся из кабины, объезжая пса. Было что-то демонстративное и в поведении этой собаки, и других, спокойно гулявших по улицам Новых Ключей, и Артему подумалось, что здесь сосуществует два общества — человеческое и собачье, живущие независимо друг от друга. Отчего это случилось, Артему тоже было понятно. Бросили охотники промыслы, перешли на твердую рудничную зарплату, и собаки, ходившие раньше на зверя, оказались забытыми. Они и на людей теперь не обращали внимания, как бы выражая этим свой собачий протест за то, что люди изменили им» (с. 243—244). Этот эпизод не мог не остановить на себе внимания Е. Гушина, как писателя, вдумчиво и целеустремленно рассматривающего драматические стороны бытия человека и природы, ведь уже в нем подспудно звучало какое-то неясное беспокойство, тревожная мысль об угрозе нарушения равновесия в природе.

И, быть может, «Облава» в этом смысле самое тревожное произведение из написанных Е. Гушиным.

Писатель обрушивает на своего героя новое испытание. Иван Машатин из тех героев писателя, для которых совесть дороже личной выгоды. В то же время он из тех мягких и уступчивых людей, которые редко поднимаются против давящих на них обстоятельств.

Так, узнав, что бычка вдовы Катерины задрали поселковые собаки, вожаком которых является его Тайгун, он решает: «Нужно собрать деньги и заплатить ей». Но это оказывается не так просто. Люди повели себя на собрании по-разному. Бросив собак, человек совершил первое предательство по отношению к ним. И на этом не остановился. Как роняет человека эта сцена в его пятирублевой алчности! Машатин сам отдаст деньги вдове, хотя мог тоже не «высовываться со своей честностью», ведь про Тайгуна «ни одна живая душа не знала».

Но это только первое испытание, перед которым ставит своего героя Е. Гушин. Писатель еще больше обостряет сюжет. Собаки неожиданно уходят из по-

скот. Перед людьми возникает сложнейшая дилемма: как поступить? Они решаются перестрелять собак, с помощью которых кормились многие годы, да и ребяташки к ним привыкли. Попытались мужики найти иной путь: предложить сделать это заезжей строительной бригаде («скворцам», как метко они их называют). Уж им-то, наверное, не так жалко. Но те наотрез отказались, т. к. «боятся по себе плохую память оставить».

Но и на этом автор не останавливается. Уже после собрания, на котором было принято решение «отстрелять собак», Машатин узнает, что Тайгун, которого он отдал брату жены до осени, вновь возглавляет стаю.

«Что же теперь делать-то будем? Если узнают, что это наш Тайгун, то нам за него не расчитаться, — возбужденно заговорила Антонина, — все грехи на нас повешают. Да и в бригаду тебя Овсянников не возьмет. Ближе к руднику Ситников не подпустит. Из дома выкинут и иди куда хочешь... Застрелить бы его как-нибудь без шума, а? Застрелить и закопать, чтоб никто не видел. А то всем житья не будет».

И вот Иван отправился в лес... Здесь необходимо вспомнить следующее. Когда-то Машатин ранил медведя, и тот задрал бы его (второй раз ружье дало осечку), если бы не Тайгун, который спас хозяина, прибежав на его отчаянный крик. Теперь Иван искусственно воссоздает аналогичную ситуацию:

«— Тайгун! Тайгун! — прокричал он с отчаянием, как тогда с дерева у избушки, где караулил медведя. Прокричал и задувленно замолчал, потому что перехватило горло. Затуманенными глазами смотрел он в просвет между ветками. И призывный крик его еще не успел истаять, как увидел: впереди в зелени смородинника мелькнуло что-то живое. Несколько собак выскочили из высоких трав, и, вертя головами, остановились. И тогда от них отделился черный кобель. Он несся на махах вперед, к затаившемуся под кедром Ивану. Тайгун не бежал, нет, он летел, едва касаясь лапами земли, и тело его

распласталось над травами, над землей, и было прекрасно в своем порыве».

Финал открытый: надо решаться в ту или иную сторону. Но вопрос: «Как поступит Иван?» обращен и к нам. И звучит он гораздо шире: а как вообще должен вести себя человек, чтобы не преступить в себе человеческое, остаться равным самому себе?

В финале, как это ни парадоксально звучит, заключен эмоциональный «эпизентр» повести, ее нравственный эффект. История с собаками, их своеобразный вызов людям — это в то же время для писателя только повод (сам по себе, конечно, неординарный и драматический) для создания крайне предельной ситуации, в которой человек остается наедине с самим собой, с собственной совестью, в которой проверяется его способность вынести свое назначение на земле. Человек предал собак, а не обернется ли это предательством самого себя? Ведь недаром боится герой: раз уступил — и дальше так пойдет, недаром ощущает неуверенность, «надлом» в своей душе...

Пафос повести — тревожный сигнал, строгий счет, который предъявляет писатель человеку. Ведь люди идут убивать не только собак, но и доверие, привязанность к себе. Собаки у Гушина очеловечены, они имеют «живую душу — умную, понятливую, на добро и ласку отзывчивую».

В. Астафьев, рассказывая в «Царь-рыбе» о собаке Бойе (что означает друг); пишет: «Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, была человеком, само собою хорошим». И как особенно трагически воспринимается после сказанного смерть Бойе: «Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил силло и, по-человечески скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея или осуждая кого».

Зачем тогда все? Если человек просто-напросто жесток?

Множество вопросов оставляет с нами Е. Гушин и уйти от них нелегко, да и не надо уходить. В этом сила повести — в беспокойных исканиях совести,

которую растревожил писатель.

Вс. Иванов оставил нам такую мысль: «Врач-анестезиолог сказал: «При современном состоянии медицины мы способны уничтожить любую боль. Но как тогда, если не будет болей, мы установим состояние больного?» Я думаю, то же самое и в области литературы. Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль, если она есть. А что она есть — это несомненно...»

Последние произведения Е. Гушина обращены к читателю думающему. Они обладают многими художественными достоинствами. Писатель точно вводит читателя в повествование, умело использует детали. Чего стоит, например, вот эта: «Петровна на скамейке очнулась. Особенная ли тишина была тому причиной, или по лицам она что-то определила, но до нее дошло свершившееся. Она молча поднялась, пошла в избу и вернулась оттуда с деревянной рамой, в которую вставлены были фотографии всего ее рода. Остановилась посреди двора, прижимая раму к груди сухими бурыми руками...»

Как много желтых снимков
на Руси
В такой простой и бережной
оправе!

И вдруг открылся мне
И поразил

Сиротский смысл семейных
фотографий...

(Н. Рубцов)

Писатель может поразить развернутой метафорой, неожиданным и точным словом. Мастерство Е. Гушина в лучших его произведениях не выпирает наружу, в нем отсутствует желание блеснуть формальной изощренностью, оно традиционно в глубоком и лучшем смысле этого слова.

Конечно, в прозе Е. Гушина есть еще художественные огрехи, необязательные для главного конфликта места, но она все ощутимее набирает эстетическую силу, в ней все явственнее обнаруживаются приметы нашего времени с его сложными общественными проблемами, многозначностью социально-нравственных коллизий.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. ИСАКОВА

В 1958 году в книге моего отца Г. П. Раппопорта «Страницы литературного прошлого Алтая», выпущенной в Барнауле, появилась первая статья о Степане Исакове — писателе-сибиряке, начавшем литературную деятельность еще до революции и наиболее полно раскрывшем свой талант в первые советские годы. От вдовы писателя З. К. Павловой автор получил тогда рукописи С. И. Исакова, среди которых было немало неопубликованных произведений, представляющих большой интерес и историко-литературную значимость.

Архив отца после его смерти (1966) неоднократно тщательно просматривался, изучался и известным литературоведом и критиком Н. Н. Яновским, и старшим братом моим Е. Г. Раппопортом, и многими другими исследователями. Тем удивительнее находка, обнаруженная в этом архиве совсем недавно...

Узкие листки почтовых бланков, исписанные с чистой стороны невообразимо мелким, «микрографическим» почерком, аккуратно пронумерованы и вложены в сшитую из нескольких тетрадей в линейку пожелтевшую тетрадь без обложки. На первой ее странице начертано: «Ст. Исаков. Красные орлы. (Восстание) Пьеса в 5 действиях».

О пьесе под названием «Восстание» неоднократно писал Н. Н. Яновский в своих статьях, посвященных творчеству Исакова¹, справедливо названного им «одним из талантливых зачинателей советской литературы в Сибири».

«В пьесе три почти не связанных между собой картины», — уже по этой фразе критика ясно, что он был ознакомлен с пьесой по-иному, незавершенному варианту. Напомню, что в оригинале пьесы пять актов. Н. Н. Яновский же вынужден был судить о всей пьесе по первым трем, к тому же не в окончательном их виде. Отсюда и его оценка пьесы в целом как «драматургически незавершенной», «незрелой», очевидно, не может быть механически перенесена к именуемому теперь у нас практически другому произведению — пьесе «Красные орлы».

«Есть предположение, что пьеса «Восстание» написана в 1920 году», — пишет критик. Это предположение Н. Н. Яновского можно теперь подтвердить с полной уверенностью, хотя автор пьесы и не датировал ее. О времени работы С. Исакова над «Красными орлами» («Восстанием») красноречиво свидетельствуют использованные писателем вырезки из газеты «Алтайский пахарь» за 19 декабря 1919 года и август 1920. Эти вы-

резки с рассказами и воспоминаниями партизан армии Е. Мамонтова о боях с колчаковцами сохранились, будучи вложенными писателем в рукопись. С документальной точностью перенес С. Исаков в 4-й акт пьесы факты, почерпнутые им из рассказов партизан. Так появились эпизоды, повествующие о провокации Рогова, когда значительные силы партизан попали в засаду и были обстреляны артиллерией, а под Мамонтовым убили коня; о переломе в ходе многодневной битвы с колчаковцами, обозначившем скорую победу над ними при поддержке стремительно наступающей Красной Армии; рассказ о гибели командира 7-го полка «Красных орлов» тов. Колядо, юноши 20 лет, «самого храбрейшего в армии», по воспоминаниям партизана И. Кантышева. В пьесе автор вывел героя под фамилией Середа, но при этом даже номер полка Колядо сохранен.

Возможно, что именно воспоминания И. Кантышева побудили С. Исакова назвать пьесу иначе — не «Восстание», как он намеревался ранее, а «Красные орлы». Именно это выражение применяет партизан, говоря о всей армии Ефима Мамонтова.

В пятом акте С. Исаков, завершая пьесу и оценив, видимо, соотношение художественного вымысла в ней с действительными фактами, решительно выводит главного героя — командующего партизанской армией Е. Мамонтова под собственной его фамилией, ранее он был по пьесе Мамаевым. Тем самым драма окончательно приобрела конкретно-историческую достоверность.

Финал пьесы звучит мощным победным крещендо. К Мамонтову приводят перебежчиков — обманутых колчаковскими офицерами крестьян, ставших белогвардейцами. Они готовы теперь кровью смыть позор своего недомыслия, просят принять их под красное знамя. Необыкновенно важна и сцена приема в штабе Мамонтова рабочего-железнодорожника, делегата городских подпольных организаций, готовящихся к восстанию против колчаковцев. Он прислан для установления боевой связи с партизанами. «Мы победим, — восклицает один из героев. — Товарищи крестьяне, осознав свою ошибку, через трупы своих братьев протягивают руку рабочим... Да здравствует всемирный союз мозолистых рук!.. Да здравствует вождь мозолистых рук товарищ Ленин!»

Грядет восстание в сибирских городах. И уничтожить колчаковский «нарыв» поможет повстанцам легендарная партизанская армия Мамонтова, с пением «Интернационала» проходящая под занавес пьесы мимо своего командира. И при виде сокрушительной мощи «красных орлов» отвернется, бессильно рыдая, пленный белогвардейский генерал и во всей фигуре его, как гласит последняя авторская ремарка, читается «сломленность, погибшее прошлое, вообще гибель власти капитала». Так заканчивается пьеса Степана Исакова, свидетельствуя о тех немалых переменах в

¹ См. ж-л «Сибирские огни», 1968 г., № 8, статьи: «Степан Исаков». — В кн.: Н. Н. Яновский. «Голоса времени». Новосибирск, 1971 г.; «Один из зачинателей советской литературы в Сибири». — В кн.: «Литературное наследство Сибири». Т. 3. Новосибирск, 1974 г.

мировоззрения писателя, которые свершились в последние годы его жизни.

Вместе с пьесой найдена и рукопись законченного рассказа С. Исакова «Среди покоя». Она датирована автором 20/XII—20 г. Это были последние месяцы жизни писателя, период, в который им созданы, помимо упомянутой пьесы, повесть «Голгофа» и рассказ «Без имени» — последнее опубликованное при его жизни произведение, удостоенное в 1920 году премии на литературном конкурсе в Барнауле.

В рукописи рассказа «Среди покоя» можно прочитать и зачеркнутые автором другие варианты названия: «Исцеление духа», «Кусок жизни». Ни под одним из этих названий рассказ никогда не публиковался и совершенно незнаком исследователям творчества С. Исакова. Между тем он представляет несомненный интерес.

Его сюжетом стали воспоминания писателя о поездке в Горный Алтай, видимо, последней, весной 1919 года, о встречах в пути. В рассказе есть и прямые реминисценции из раннего произведения С. Исакова, рассказа «Там, в горных долинах» — история любви солдатки Натальи, камнем-«щепношкой» прокалывающей ногу любимому, чтобы он не ушел от нее, и вошедшая в пьесу «Красные орлы» страшная повесть о похоронах колчаковцами под поповскую «аллилуйю» живого человека. Ненависть и презрение к колчаковским «возродителям старой России» звучат и в этом произведении С. Исакова. Измученная перенесенными ужасами белогвардейского террора душа писателя тянется к родной природе Алтая, к его простым людям, словно ища «исцеления духа». «Ведь и во времена инквизиции, — пишет он, — люди находили удовольствие жить и даже знавали счастье».

Счастья не было. Вслед за смертью первой жены у С. И. Исакова в 1920 году один за другим погибли от воспаления легких два его сына. Неизлечимой оказалась и его собственная прогрессирующая болезнь — туберкулез. И все же писатель не сдается, как никогда,

много работает, мечтает о будущем. «Моя фантазия бедна, но и она уносит меня за пределы предельного», — пишет С. Исаков в рассказе «Среди покоя». И с ним можно согласиться, прочитав хотя бы такую бесхитростную, «бедную» фантазию: «Алло! Сан-Франциско. Из Читы прибыл дредноут воздушного плава-ния L-62»...

Лишь пять лет спустя в Барнаул прилетел первый двухместный пассажирский самолет, который был использован для учебно-показательных целей. Откуда же залетел в воображение провинциального писателя этот межконтинентальный «дредноут»? Да еще именно с порядковым номером нынешнего воздушного лайнера ИЛ-62, обслуживающего трансконтинентальные линии?! Разумеется, это всего лишь поразительное совпадение, угадывание, но до чего же любопытно заглянуть в мысли фантаста 1920 года!

К слову сказать, в упомянутой Исаковым Чите годом раньше появилось стихотворение С. М. Третьякова, которое называлось... «Ту»!

Ту!
Полетим в высоту!
Чтобы в синем величии
Угадать голоса всякие птички...

Поистине — «за пределы предельного»!

И как же не вспомнить тут еще раз известные слова А. М. Горького: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем лучше, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего».

В полной мере относятся эти слова и к творчеству Степана Ильича Исакова, чьи лучшие произведения надо обязательно собрать и выпустить отдельной книгой — в этом давно назрела необходимость.

Ал. Ратнопорт

Степан ИСАКОВ

СРЕДИ ПОКОЯ

РАССКАЗ

Сегодня в полдень стоял последний сугробик в саду. Я стоял в стороне и не мешал солнцу делать свое дело; я и не помогал ему, а только стоял и смотрел, как умирала зима.

А потом, когда от сугробика осталось одно воспоминание, да немного пара, да еще темное мокренькое местечко, я отметил на садовом столике дату: «21 апр. 19 г. 2 ч. 35 мин.». Может быть, кто-нибудь подумает,

что это отмечено какое-то важное событие чьей-то жизни — кто-то умер в эти минуты, или родился, или кто-то получил первый поцелуй — все можно подумать. Но я только отметил, когда наступила весна, моя весна.

Затем я осматриваю деревья. На тополях и черемухнике набухают почки, а на березке уже рассыпаны крохотные зеленые крапинки. Так осматриваю дерн на клумбах — там тоже что-то зеленеет.

И меня облекают покой и мир, и подступает тихое забвение. Все последние ночи меня что-то жестоко мучило. Я не мог ни спать, ни работать, ни думать, не мог и бездельничать. Я сидел напролет все ночи у окна и хлопал глазами на звезды — у меня не было и мечты. Я переживал мучительное одиночество, а душевная пустота доводила до отчаяния. Может быть, это чувство знают влюбленные — и то не все. Так мучили меня последние ночи, но теперь этого не будет. Покой и мир будут моей стихией с этого дня.

Да, наступила моя весна, и я говорю, молитвенно настраиваясь:

— Благослови, господи, всех... и меня.

Вот-вот, благослови меня. Так и надо молиться, когда нет на душе томлений. А в прошлые дни я не смел так молиться: «Благослови, господи», потому, что это была бы просьба, а потом и молиться-то некому было. Но теперь моя душа наливается чем-то — покоем и миром, может быть, — набухает, как почка, и тянется к чему-то. Там, в душе, все сосуды полны, может быть, там-то и поселился бог, который слышит все, и вот я молюсь ему, как настоящий верующий:

— Благослови всех, господи!..

Ах, как благодатны эти подступы весны, как благодатны! Весна наполняет и кончики моих пальцев: они тоже, кажется, набухают точь-в-точь так, как почки на деревьях. Эти подступы тянут меня в дикую природу...

В дикую природу? В горы?..

Я сажусь на скамейку и начинаю обдумывать, умиротворенный покоем, неужели я могу пойти в горы? Вот так встану и пойду, как это было в прошлые годы, в те счастливые годы, когда ничто и нигде меня не задерживало, и все и везде было создано только для моего удовольствия? Это было давно. Но нельзя разве и нынче покинуть все и уйти в горы? Впрочем, отчего и нельзя побывать там, раз...

По правде сказать, это решено у меня еще зимою, но меня соблазняет подразнить себя, помечтать о горах так, как будто мне и не удастся больше быть там — когда нет цветов, наслаждаешься искусственным ароматом.

И вот я сижу с закрытыми глазами и вспоминаю о том, что прекрасного там, в горах, в Алтае.

О, там много прекрасного! Там и не видишь, когда наступают и когда проходят весна и лето. Так однажды я не заметил, где и когда встретил весну, где и когда распрощался с нею. Точно совсем она не рождалась в тот год или совсем не покидала меня до самого города, а в город я явился 3 сентября. Впрочем, я тогда был так молод и так свеж и задорен... Но нет, это была все-таки исключительная весна в моей жизни. Тогда я не жил, а — существовал, существовал, как дерево в почве или как белое облако в солнечный день на голубом небе. Это была прекрасная весна, и о ней ничего другого и не скажешь, как только это...

Лучше уж я умолчу о старом...

На ветке скворечника усиленно напеваает скворец. Точно он хочет обратить мое внимание, что вот он прибыл домой из дальних путешествий и хочет пожелать мне доброго утра.

— Доброе утро! — говорю я ему. — Я тоже собираюсь путешествовать. Как ты думаешь на этот счет, скворуша?

Он затихает, а я начинаю высчитывать по пальцам — когда пойдут первые пароходы, я перехожу к делу.

* * *

Нет, и теперь во мне поднимаются те же чувства, как и в прежние годы: все в мире существует для моего удовольствия, все в мире.

Вот меня везет пароход, и я думаю, что он снаряжен наспех, а наспех снаряжен потому, что вздумал на нем ехать я, он снаряжен для одного меня. Я, как гений из толщи народа, выбрал для себя самое подходящее и самое простое — маленькую каютку с порванной обивкой дивана, с поцарапанными стенками и столиком и чувствую себя счастливым. Другой каюты мне не нужно — я так хочу. Точно я бриллиант, и меня везет специальный пароход. И мне приятно, и мне хочется петь. Конечно, для того, чтобы быть счастливым, надо уметь подойти к вещи и еще уметь взять ее. А если не удастся ни то, ни другое, поблагодарить себя за невзыскательность...

Там, за окном, бурая вода с желтыми кусками льда и серые берега, без земли, с темными сугробами снегов в желтых крутоярах. Местами проплывают острова. Они затоплены и на них качаются тревожимые течением тополя. Проплывают одно за другим и селения. Там, за окном, сурово и угрюмо пока, но из серого и холодного я создаю приятные и теплые краски и мне — хорошо. Я счастлив и тут.

По поводу открытия навигации на пристанях настоящие праздники, ярмарки. Все, что нужно для вечно завтракающего и обедающего пассажира, тут есть: калачи, шаньги, пироги с рыбой, молоко, яйца, масло. Там стоит гвалт из-за цен — в этом году цены вскрылись тут тоже праздничными. Но я не люблю шума и почти не схожу на берег. Я не ряжусь, а только прошу с борта какую-нибудь девочку:

— Что у тебя? Молоко, шаньга?.. Неси сюда.

Девочка приносит, я отдаю 20—40 рублей без сдачи и люблюсь ее довольным личиком.

— А груздей надо соленых? — спрашивает она.

— Нет.

— А яиц, а масла, а рыбы? Я принесу.

— Нет, ничего не надо. Можешь и идти, можешь и посидеть у меня тут, как хочешь, — говорю я.

Она уходит несказанно довольная, а я начинаю от полного сердца тихонько напевать. Я не люблю шума...

Но земля богата и человеческими дрызгами. Ангел живет тут рядом с чертом и ведет вечно борьбу. У многих людей есть назначение сеять зло, и они в этом преуспевают. Я этих людей считаю козлами, допущенными в сад. У них собственная философия и собственная психология, и то, и другое мерзко. И живут они не так, как настоящие люди. О, придет-таки время, когда земля очистится от подобных господ!

Я говорю это об офицерах, о господах офицерах, проливающих кровь, и особенно о колчаковцах — об этом нарыве в наше время и в нашей стране.

Вечером мне захотелось общества. Я прохожу во второй класс, но там — мелкие спекулянты. Они расположились со своими мешками и ведут торговые разговоры. Я не уронил ни одного слова и прошел в первый класс. Бог мой, там полно желторотых офицеров. Куда они едут? О, конечно, в карательные экспедиции, конечно, пороть мужиков. Довольно! Я насмотрелся на проделки этих карателей там, в городе, и совсем не желаю тревожить свою память, чтобы мучиться еще и тут их зверствами по отношению к человеку, к человеку, который хочет таких же праздников, как я... Возродители старой России! Бррр... Долой колчаковцев!.. И я с треском захопываю за собой стеклянную дверь.

Я держу высоко голову и выхожу на палубу — пусть думают что угодно те, там, о человеке, который сердито хлопнул дверью. Они могут арестовать меня? Пусть. Но я знаю и белое, и красное, и мне совсем не безразлично, как живет мое «я» в моем соседе. О, я отнюдь не замурован в свой восторг и покой! Пусть знают это господа офицеры, а я больше не желаю беспокоить себя ими — пусть знают и это.

Я делаю три-четыре конца по палубе. Мое возбуждение проходит: в конце-то концов они достойны одного пренебрежения, не стоят они того, чтобы портить свой вечер. И я спускаюсь в третий класс.

А здесь сразу на меня повеяло милым чернотоземом земли — всей землей. Но я все еще под влиянием пережитой мелочи и мне хочется воскликнуть тут: «Вы, там, ученые и умные люди, живущие в граните и электричестве! И все вы, променявшие природу на книги! Пригнитесь к земле, и она одухотворит ваши машинные головы!»

Но я не кричу этого — я не люблю шума. Я присаживаюсь к бородатому человеку и завожу с ним тихие разговоры. Он паивен и

простодушен, особенно его рыжеватая борода во всю грудь. Я разговариваю больше с нею.

Он из тех краев, где однажды прожил я целое лето. Это было лет семь тому назад. Был я там два раза и позднее, но не подолгу. На его глазах проходит жизнь моих знакомых и ему известны все тропы и пасеки, и займки, где бродил я.

— По-прежнему ли живет Григорий Иванович? — спрашиваю я. — Он, наверное, уже старик?

— Григорий Иванович? Нет, он преставился.

— Умер?

— Да. А солдата Федора убили на войне... И Симшу убили. Один Иван остался.

— Господи! — восклицаю я. — Какие перемены!.. Ну, а Наталья-солдатка?

— Солдатка? Хе... Она пошла по рукам... Пропала баба...

— Вот как! — только говорю я.

Он говорит еще о ком-то и о Лавруше, о Лукерье, но я занят прошлым и не слушаю его.

...Солдатка! Все-таки она прекрасный человек. Однажды, когда я собирався уходить с займки, она порезала щепнюшкой мне ногу и таким образом задержала меня на некоторое время около себя. Ее ласки были горячи для меня. Но я все-таки ушел...

— Так, так... — говорю я потом. — А как поживает Ерофей Никитич? Свою торговлю и он, наверное, прикрыл, как все торговцы?

— Торговлю? Он четвертый год не открывает лавки. Он совсем выдохся, пожалуй, и щи варить теперь ему не в чем... Да и сам-то на ладан дышит...

— Он и тогда прихварывал.

— В чем и душа держится — не понять! А сынка-то его ты знаешь?

— Копу? Как же. И дочерей знаю. Я частенько играл у них в трест, варил варенье... Копя, то есть Прокопий!

— Дикой парень, — качается борода. — Вот орудует так орудует! Все в дому вверх дном перевернул, пособу нет... Отца, мать поедом съел, сестер разогнал... Как волк. К ним и родня-то уж не ходит.

Как все изменилось, точно тридцать лет прошло. И эта Наталья! Помнит ли она меня? И не обернется ли она снова к богу, и не станет ли по-прежнему чистой и хорошей, если я напомню ей о себе? Она дарила мне хорошие вечера...

— Значит, жизнь-то у вас идет все-таки, — говорю я. — У вас там ни войн, ни революций не было, а все же двигаетесь за ними... Я, собственно, туда и иду, к вам...

Я ухожу от бородатого человека поздно ночью и уношу воспоминание об одной жен-

щине. Я брожу целый час по своей каютке, присаживаюсь на диван и опять брожу. Мне ни разу не вспоминаются ни офицеры, ни спекулянты. А когда лег спать, увидел ее, Наталью.

— Благослови, боже, и хорошие сны...

* * *

Я вконец уподобляюсь божьему страннику: все время «молюсь», я стал широк и полон, а вся земля — мои заповедные луга и роши. Там, в небе, есть другой, подобный мне странник, но тот, видимо, шумен и огнен, и он покровительствует мне: греет меня и освещает мне путь ярким солнцем. Я бы хотел знать существо того странника.

Вот так я мечтаю и думаю, шагая по дороге к горам.

Широкие степи, досиня уходящие вдаль, поят меня мудростью. Синие верхушки гор там, за несколько десятков верст впереди, тоже обещают мудрость. И по земле, и по небу разлита тишина. Вправо и влево видны проливающие над землей пот мужики. Пришел для них тяжелый трудовой праздник, и они ходят за плугами, потчуют улыбками черные пласты земли. Они не могут не быть мудрыми и не могут не быть счастливыми. Но они суеверны, как древние пророки, и мудрости, и счастья ищут в земле. Их острие мысли — кончик лемеха, их книги — черные полосы: тут и религия, и философия, и поэмы. Если не хотите, чтоб умер мужик, не отбирайте у него плуга.

Но тут я ловлю себя и начинаю смеяться: все это ерунда, чушь. Мужик, философ, бог, дикарь — это одно, а ценность мозгов каждого зависит от их развития. И мужик не умрет, если его воспитать рационально.

Дело в том, что все мы хотим быть богами. Будет время, когда в нагрудном кармане моей тужурки будут лежать две маленькие трубочки. Мне приходит фантазия узнать, что творится в мире, и я вынимаю трубочки и всовываю их в уши: «Алло! Сан-Франциско. Из Читы прибыл дредноут воздушного плавания L-62». Хорошо. Не интересно. «Алло. Пулковое. Сегодня подвергался новому опыту принцип приема радиogramм с Марса на все станции». Голоса сфер? А разве мои трубки не будут слушать Марса? Но дальше. «Архангельск. Агроном Буторин утверждает, что сбор винограда в этом году будет обильным»... Скучно. Я вынимаю из ушей трубки и прячу их в карман. Моя фантазия бедна, но и она уносит меня за пределы предельного. Тут, среди степей, я начинаю чувствовать себя чуточку поэтом, а поэты такие лгуны и

фантазеры! Они даже могут взрывать себя. Они уверяют, что и поэзия-то не существует, что нет никакого искусства, а только одна философия. После них выспаться хорошо следует...

К вечеру я прихожу к перевозу. Река тут идет в трубе и настолько узка, что можно перекрикиваться с берега на берег. Тут она и весной не выходит из берегов. Бурные воды полны и спокойны, тяжелы. Если долго смотреть на течение, почему-то думается о каком-то толстом человеческом животе. Натянутый с берега на берег канат, взбрасываемый течением, беспрестанно хлопает по этому толстому животу.

— Эгей-гей! — кричат с той стороны люди. — Подавай паро-ом...

Там телеги четыре, а здесь один мужик с возом да я. Оба паромщика сидят у избушки, покуривают трубки и — ноль внимания на крики с того берега, они с невозмутимым спокойствием рассуждают о перемете, поставленном на ночь, попадутся ли шуки и в эту ночь. А солнце уже зашло за рошу — раскраснело и рдяным ослеснуло запад. Ни до чего чужого им нет дела, так они привыкли на большой дороге.

Но вот еще подъезжает к нам толпа и еще. Тогда паромщики встают, прячут в карманы трубки и готовят паром. Воз погружает один бок парома глубоко в реку, другие телеги устанавливают равновесие, и мы поехали, не поехали, а полетели, перелетели: взвизгнул блок, и вот какая-то чудодейственная сила перекинула нас на другой берег.

Пока выгружаются телеги, я стою на песчаном холмике и решаю задачу: могу ли я идти до наступления тьмы в деревню или не могу. Она в пяти верстах отсюда, но по дороге болото — и весенние они, и кроме того, хотя деревня знакома мне, но знакомых в ней нет, кому бы я мог в ночь-полночь постучать в ворота, как в собственные. Теперь не старое наивное время! При безудержном сыске и подозрениях теперь очень легко можно попасть на неудобный ночлег где-нибудь при сельской сборне или на квартире урядника. Остается одно: попросить хотя бы мужика с возом принести меня к себе в компанию.

И вот я направляюсь к мужику с порожней телегой. Он и еще другой мужик стоят против паромщика и рассчитываются за перевоз.

— Не довезете ли меня до деревни? — спрашиваю я мужика. — У меня, видите ли, разболелась нога и...

— А я, милый сын, тут ночую... На лужке... — говорит он тепло, сибирским говорком. — Разве вот он...

— И я тут, — отвечает и другой мужик.

— Вот как! Тогда и я ночую с вами.

— А милости просим, лужок-то широк... Каждую ночь на нем гости-ночлежники.

И вот в сумерках мы трое сидим у костра и ждем, когда вскипит чай в котелке.

Зелень еще так мала, что нет никакого смысла пугать лошадей. Они стоят каждая у своей телеги и хрумкают сено. Костер освещает у одной лысую голову с большими белыми глазами, у другой — половину бока и хвост. Телеги придвинулись задними колесами вплотную к медному свету, а передками ушли куда-то далеко, на самый луг. А кругом — ночь и звезды. Природа!..

С мужиками я переговорил обо всем, что интересовало их. Нет, я не прячусь от правосудия, и я не дезертир. У меня имеются свидетельства о том, что мне дано 3 месяца для отдыха, есть и докторское удостоверение о моих слабых легких. А так как я беден — и порядком, то и иду к своим знакомым на Алтай пешком. Нет, ради бога не думайте, что из-за меня к вам может привязаться неприятность!

— Видишь ли, мы-то в стороне, да тебя жалко, — говорит сибиряк. — Время-то теперь... со своей бабой и то ухо остро держи: донесет — и порка... Похаживает она, матушка, теперь по нашей спинушке.

— Плетка?

— Нет... баба...

И оба мужика смеются.

Но сибиряк опять наливается грустным, чем-то благородным и покорным и вздыхает:

— А этих большевиков поди уж и на поглядку-то не оставили, хоть бы на приплод сохранили... Как чуть где выкопнут какого — и к стенке... Вот времена настали, вот времена!.. На прошлой неделе нашего Кузьму, племянника Савелия Андреича, — и того... А какой большевик Кузьма?! И гроза его — что только того же Савелия Андреича за бутылкой доносчиком назвал... За пуст-речь расстреляли парня!

Природа и люди!..

Ах, меня теперь ничем не удивишь, милый человек, и не зажжешь во мне буйного безумия. Может быть, я когда-нибудь пережил такое безумие во сне, а теперь только впитываю ужасы, одни ужасы. И они делают меня спокойным, как дикаря-людоеда. А может быть, как все, и я страдаю тихим безумием и жду, когда наступит черная ночь и в ней утонет душа. Всего можно ждать. Я знаю, как в одном месте хоронили живого человека: его несли родные на руках в гробу, а впереди шел поп с кадиллом и пел: «Аллилуйя». Так и принесли на кладбище и похоронили живого, а

потом солдаты выстрелами разогнали народ... Знаю, как повешенного тянули за ноги до тех пор, пока у него, у мертвого, не осталась в петле одна голова... Ух!..

Я вскакиваю и ухожу от костра в темную ночь. Я быстро пересекаю дорогу и сквозь кусты продираюсь к реке. На крутояре, взглянув на бледное поле перед собой, я вспоминаю толстый живот. Эта бесстыдная нагота реки прикрылась теперь черным пологом и спит.

Но я забываю тотчас же это и тотчас же иду обратно. С дороги я вижу костер, телеги и людей. Котелок все еще висит над огнем. Мне можно уже идти туда — я спокоен. Но я хочу быть еще и веселым, ведь и во времена инквизиции люди находили удовольствие жить и даже знавали счастье. Я поворачиваюсь лицом к перевозу и тихонько шагаю по дороге.

Тут, в нескольких шагах от берега, я видел давеча черный крест и на нем длинную полинялую надпись. Я подхожу к кресту и вспоминаю, что там написано. А там написано о том, как в таком-то году пал на этом месте мученической смертью убиенный почтальон такой-то и такой-то от рук разбойников и грабителей. Благословенное время, когда убийство потрясло мир, а убитый за чужие грехи причислялся к сонму мучеников! Благословенное время!.. Благословенно и время грядущее, когда не будет ни судей, ни подсудимых!

Нет, я не развеселился этим, но у меня осталась покойная тоска. С ней хорошо. И я иду к мужикам. Они уже пьют чай, разговаривают о том о сем. У одного нашлась запасная чашечка, а у меня сахар, и вот мы сидим, угощаемся до поздней ночи.

Наконец все закончено, пора ложиться спать. Сибиряк сразу же свалился и захрапел. Он не избалован удобствами, у него ничего нет ни под головой, ни под боком, он спрятался в широком озяме, точно в футляре, и захрапел. Мне так же предстоит спать в своем летнем пальто, хотя ночь стала холодновата. Но другой мужик все ходит кругом телеги и постанывает. Наконец он стаскивает с телеги мешок, набитый какими-то длинными кусками, и кладет под голову. Ему неловко, голова стоит торчком, а сам лежит, но другого положения он не хочет принять.

— Вы бы уж лучше оставили мешок-то, — говорю я ему. — У вас заболит шея.

— Нельзя, — говорит он.

— Разве у вас там драгоценности, что кладете под голову?

— Есть малую толику, — отвечает еще он, совсем как купец. — Ведь тут товар! Мануфактура!..

Чудеса за чудесами! Как изменили людей эти годы! Вот уж поистине теперь-то чужая душа — потемки...

* * *

И вот я опять на ногах, опять широкий странник и опять иду к синим горам. Солнце обливает сбоку меня всего, обливает всю степь — кругом золотой туман, а в нем покрикивают пахари. Из-под ног вспыхивает холодная пыльца. Вот, вероятно, какой-то жук переполз дорогу — оставил бисер следа и ушел гулять в соседние поселения. Такая благодать для жучков, мышек и ежей эти весенние ночи! В небе один хор жаворонков. А я иду и иду. Я останавливаюсь, закусываю, отдыхаю, ночую и опять иду. И все время чувствую, что хорошо живет степь и хорошо живут в степи люди, и хорошее небо, а меня нет. Я сделался легок и пространен, я впитался во все тут и в меня впиталось все, и вот я перестал чувствовать ноги, руки, глаза, уши, и я никуда не спешу. Попросту меня облекла великая лень земли и мне хочется лечь в стороне от дороги и лежать сто лет. Но — закон движений! В моей груди разгорается и разгорается гора. Совсем не важна мне степь. Ее покой слишком покоен. Она лежит, как свежеиспеченный каравай, и туманит голову запахами насущного. Если бы были у меня крылья, я взвился бы теперь и полетел в горные вершины. Вот как разгорелся горн!.. А там опять, может быть, появилось бы желание лечь на сто лет в тени кедра или еще куда-нибудь пойти — это дело настроения...

А горы все придвигаются и придвигаются ко мне. Я уже могу легко разглядеть — леса ли покрывают вершины

или голы они, утесисты и на скалах блещет солнце. Вот я вступил на первые холмы и увидел первые обнажения горных пород. В одном месте я присаживаюсь на камень, собираю мелкие камешки и начинаю определять их. Но я не силен в геологии. Да и не нужно мне знать, что у меня в руках — гранит ли, порфир или, может быть, самородок золота, облеченный в каменный кожух. Для меня все камни равны в ценности, и я сдуваю с них пыль и целую попеременно все три камешка... Но тут у меня появляется слеза восхищения, и я кладу камешки в карман тужурки. Я не знаю причины восхищения, но я и смеюсь, и плачу, и даже приплясываю, вздымаясь на перевал...

А потом спустился к реке, к самой настоящей горной реке, которая шумит и пенится. Тут подобие ущелья — с утесами и с балками. А когда снова поднялся на перевал, передо мной открылась изумрудная, жемчужная и алмазная панорама долин, лесов и белков Алтая.

Мне надо идти еще два дня до того поселения, где хочу пожить. Но я знаю, ничего не удастся мне рассказать об этих двух днях. Так тут много солнца, и много аромата, и много легенд в каждой роще и в каждом камне!.. Не рассказать мне — я задыхаюсь полнотой событий каждой минуты. И я свертываю свою записную книжку и прячу ее в сумку, где лежат пока ненужные вещи — мыло и бритва, и еще пара белья. Не нужна записная книжка там, где все выше искусства. Не рассказать мне...

Был полдень какого-то числа и какого-то месяца весны, когда я вошел в Алтай...

24/XII—20 г.



ЧЕЛОВЕК И ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Владимиру Андреевичу Сергееву исполнилось 50 лет. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить о некоторых из основных достоинств его лирики, подчеркнуть присущие только ему характерные особенности поэтического письма.

Журналист, а затем заведующий красной ярангой в середине 50-х годов, вот уже двадцать лет Владимир Сергеев живет и трудится на родине, в Барнауле.

Знакомство с Севером, работа в Магадане и на Чукотке если и не стали главенствующими темами в творчестве поэта Сергеева, то, безусловно, во многом определили характер его душевных откровений, прежде всего сдержанность и максимальную достоверность, внутреннее достоинство и целеустремленность. Отсюда доминирующее свойство в большинстве стихов Сергеева — наличие конкретного факта, случая и сюжета. И далеко не случайно, думается, что одна из первых его книг, изданных Магаданским книжным издательством в 1953 году, названа довольно четко и определенно — «С правдой вдвоем».

Не случайно и то, что в стихах о Севере меньше всего северной экзотики, но больше всего говорится о человеке с его конкретным делом и отношении к этому делу. И если говорить об идейной стороне сергеевского творчества в целом, то оно, безусловно, отмечено печатью высокой гражданственности.

Вчитайтесь в его программное стихотворение «Любимое дело». В нем практически каждое двустишие — своеобразный духовный и нравственный кодекс поэта, его страстный и глубоко прочувствованный монолог о цели и назначении человека.

Человек без любимого дела —
Это просто подвижное тело.
Нелюбимое силы подтачивает,
Сушит душу и ум укорачивает
Или тихо, умеючи, ластится,
Обещая беспорное счастье...
...Нелюбимое дело отложишь

И спокойно гуляй, сколько можешь —
От любимого, хочешь иль нет,
На земле тебе отдыха нет...
...Даже самых умелых и ловких
Редко гладит оно по головке...
...Ты служил безупречно и смело
И достиг небывалых высот,
Но прислось любимое дело —
От паденья никто не спасет...

И так далее, до заключительных строчек:

Чтоб под корень нас смерть не косила,
Чтобы наша земля не скудела,
Чтобы не было в жизни предела,
Есть на свете надежная сила —
Человек и любимое дело.

Благодаря насыщенности содержанием, афористичности, строчки эти даже вне контекста не утрачивают самостоятельного звучания, одухотворенности и законченности.

В связи с этим уместно сказать и о другой особенности стихов Сергеева — о кажущейся на первый взгляд обыденности и прозаичности. Действительно, что особенного, скажем, в следующих стихах.

Все мы в юности замки воздушные строим,
Это свойство живет у нас цепко в крови:
Замок сказочных дел,
Замок книжных героев,
Замок светлых дорог,
Замок первой любви...

Только жизнь, как обычно, прямою наводкой
В нужный час из тяжелых орудий — ба-бах!..
Чем лечиться теперь? Утешеньями? Водкой?
Мудрой истиной слов, что навязли в зубах?..

Может, так. Но растут из упорства и пота,
Из крепчайшего сплава труда и мечты
Замок добрых надежд,
Замок честной работы
И бескрайней любви,
И людской доброты...

Как можно убедиться, стихи эти и впрямь не поражают ни сверхобразностью, ни насыщенностью поэтическими тропами, ни радужной цветастостью. Тем не менее попробуйте-ка изъять хотя бы одну из строк — и стихотворение захромает, а то и вовсе рассыплется. В поэзии это и есть одно из убедительных доказательств мастерства, умения знать настоящую цену слову, чувствовать его глубину и весомость, подчинять его замыслу.

В стихах и поэмах Владимира Сергеева нередко можно встретить такие словосочетания, как, например, «честная работа», «любимое дело», «людская доброта», «светлая любовь», «душевная правота»... Высокие эти понятия отнюдь не самоцель и не доказательство бедности поэтической палитры Сергеева. Он, надо сказать, и в повседневной жизни своей руководствуется этими же категориями. Если делать дело — то честно и добросовестно; любить — искренне и без оглядки; помогать людям — от всей души и без всякой корысти. И уж, конечно, ни в коем случае не мириться с черствостью и равнодушием людским, с фальшью и высокомерием, с себялюбием и бездуховностью.

Не бойтесь, люди, жары и холода,
Не бойтесь гнева, лишений, голода,
Не бойтесь дум и сомнений тяжких,
Слепой вражды, клеветы бесстыжей,
А бойтесь, люди, своей рубашки,
Той самой, которая к телу ближе...

Все возрастающая с каждой строкой тревога поэта, заканчивающаяся просьбой-заклинанием: «Пусть она будет всех ближе к телу, но пусть только к сердцу не прикоснется», ставит стихотворение «Своя рубашка» в ряд многих его стихов, которые и составляют главное поэтическое достоинство и достижение Владимира Сергеева, являются сутью его поэзии и жизни.

Вынося на читательский суд боли свои и тревоги, делясь своими радостями и сомнениями, поэт Сергеев отнюдь не «по-донкихотски» умеет постоять за свои принципы, не боясь при этом, что будет неправильно или превратно понят. Сошлюсь для примера хотя бы на стихотворение «Онгудайские гуси», с их заключительными строчками:

...Потеряла покой сухопутная стая,
На обрыв поднимаясь и снова слетая,
Чуя сердцем своим, его каждым ударом:
Дармовое зерно не обходится даром.

Нужно ли доказывать, что гуси здесь всего лишь повод, что главное в стихотворении так называемый «подтекст», без которого стихи перестают быть стихами, особенно если они посвящены малопривлекательным частностям окружающей нас действительности.

И еще: в книге «Любимое дело» есть раздел «С улыбкой», который мне представляется не менее характерным для сегодняшнего Сергеева, как и стихи его на сугубо гражданские темы.

Улыбчивые и шуточные, ироничные и лукавые, но ничуть не злопыхательские, они продолжают тему той самой борьбы против пресловутой рубашки, которая ближе к телу, ставшей своеобразным символом всего, с чем не может и не желает мириться поэт.

Уметь увидеть в окружающей повседневности вроде бы малозначительные, не «поэтические» факты, суметь их сделать достойным гласности и фактом не «изящной», конечно, поэзии дано не каждому пишущему стихи. Сергееву же оно присуще в полной мере. И это тоже одна из особенностей его поэтического дарования.

Остается добавить, что в литературу Владимир Андреевич Сергеев вошел с благословения выдающегося поэта Александра Трифоновича Твардовского. Он первым обратил внимание на одаренного автора, поддержал его, опубликовав сначала стихи, а затем очерки В. Сергеева в «Новом мире». Уроки учителя пошли впрок. Владимир Сергеев нашел свой путь в поэзии, обрел свой голос. Время покажет, как долго он будет слышен. Сегодня же рано подводить итоги, ибо, как сказал сам поэт в стихотворении «Юбиляру»:

...Пятьдесят — это все-таки славная дата:
Кто б ты ни был, а стой до конца на посту, —
Ты теперь не отличен ничем от солдата,
У которого каждый патрон на счету.

Владимир Казаков

САТИРА И ЮМОР

Григорий КОФМАН

ВЕЛОСИПЕД

Руководитель БРИЗа Булыжников корпел над докладом «Невозможность вечного двигателя», когда в дверь кабинета робко постучали. Дверь открылась, и Булыжников увидел бледного человека с папкой в руках.

— Я изобрел велосипед, — тихо сказал посетитель.

Булыжников покраснел, но взял себя в руки и сухо сказал:

— Зачем? Он ведь уже есть.

— Такого нет, — возразил молодой человек. — Моему велосипеду не нужны педали...

— ??

— Вращение колес осуществляется за счет постоянного перемещения центра тяжести...

Булыжников посмотрел на портрет Ломоносова, как бы призывая его в свидетели.

— Перпетуум-мобиле?!

— Может быть, — кивнул посетитель и потянул за тесемки папки. — Вот расчеты и чертежи.

— Очень интересно, — фальшиво улыбнулся руководитель БРИЗа. — Давайте их сюда, на комиссии рассмотрим.

Отделавшись от странного посетителя, Булыжников нервно закурил. Поколебавшись немного, придвинул к себе микрокалькулятор, пробежал пальцами по клавишам. Получалось, сколько велосипедов, столько прищепок можно сэкономить. А если отбросить тех, кто при езде прищепкой штанину не боится, то еще меньше. А если из этого числа исключить гоночные и женские велосипеды, оставалось почти ничего.

«Несут дрянь!» — вздохнул Булыжников и затупил окурок в массивной пепельнице, сра-

ботанной из голубоватого с прожилками философского камня.

Засунув папку изобретателя в урну для мусора, Булыжников подошел к окну. Однако бледный молодой человек успел отъехать уже довольно далеко, и руководитель БРИЗа не разглядел, крутит он педали или нет.

ТЕЛЕФОН

У меня зазвонил телефон. Снимаю трубку.

— Шершавский! Давай машину к подъезду!

— Пардон, — говорю. — Не туда попали, это квартира.

— Ты что, белены объелся? Немедленно давай машину к подъезду!

— Да вы куда звоните? — спрашиваю вежливо. — У меня и машины-то нет.

— Ах, и машины уже нет? Давай тогда сам к подъезду!

— А чего я там не видел? — говорю. — Я кушаю, ем.

— На работе у меня кушаешь? Чтоб через две минуты был у меня, я тебе покушаю!..

Мне интересно стало, даже есть перестал.

— Куда это к вам? — спрашиваю.

Трубка молчала, словно на другом конце провода что-то напряженно обдумывали.

— Так. Еськов, ты?

— Нет, — отвечаю.

— Трикатуйкин?

— И не он.

— Тогда, значит, Улиточкин!

— Значит, и нет. Я же сказал...

— Ох, Пузырев, с огнем играешь! Ну, погоди, я сейчас сам приду, и чтоб твоего духу...

— А куда, интересно, придете?

— Гм... А ты... А вы кто?
— Дома я у себя.
— Дома? А говоришь из нашей конторы?!
— Нет, ошиблись вы номером.
— Я ошибся?! Да ты хоть соображаешь, что говоришь, кому грубишь?.. А ну, положи трубку! Я сейчас...
Я положил трубку.

КУБ

В пятницу позвонил мне на работу Жубатов.

— Старик, есть вещь, по большому благу!..

— Джинсы? — спрашиваю.

— Нет, — смеется. — Джинсы уже у всех есть. Куб железобетонный, полтора на полтора.

— А на кой он мне? — интересуюсь.

— Чудак! Ведь ни у кого нету, а у тебя одного есть, представляешь? К тому же дешево, по благу!

— Сколько стоит?

— Четыре двенадцать просят. С доставкой. А знаешь, сколько он реально стоит?

Он меня уговорил. Придя с работы, я увидел куб, загораживающий вход в мой подъезд. Жильцы интересовались, какой паразит и зачем выгрузил здесь этот булыжник, и тщетно пытались сдвинуть его с места.

Я тоже чертыхнулся в сердцах.

— Какой паразит?..

И стал упираться в куб вместе с соседями.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

(Производственно-фантастический рассказ)

Все началось с того, что рабочий Полиглов, явившись в понедельник на работу с тяжелой головой, стукнул кулаком по станку и заявил мастеру:

— А вы войдите в мое положение!

И мастер вошел. Полиглов же, войдя в положение мастера, сокрушенно развел руками перед инженером:

— А вы попробуйте статью на мое место!

И инженер попробовал. А Полиглов, став на его место, уже бил себя в грудь в кабинете у директора:

— Вам бы мои заботы!

И директор взял на себя его заботы. Тогда Полиглов из директорского кресла озабоченно оглядел подчиненных.

— Знаю, входил в ваше положение, был на вашем месте, имел ваши заботы!..

Но оказаться в его шкуре не хотел никто. Горел план.

ЧЕТЫРЕ ПОРЫ ГОДА

Я люблю морозную суровую зиму. Когда наст поскрипывает под ногами, я не мучаюсь в узких японских плавках и суперплотно обтягивающих джинсах «Леви Страус».

Мне нравится щебечущая птицами весна. Когда кругом ручьи, я не парюсь в канадской дубленке и не кутаюсь в двухметровый английский шарф.

А что может быть лучше жаркого пляжного лета! Когда сияет июльское солнце в безоблачном небе, мне нет нужды рядиться во французский шерстяной костюм.

Меня прельщает поздняя желтая осень. Когда ветер гоняет опавшие листья, я не ношу ковбойку, скромную ковбойку за семьдесят рублей, и курточку «Адидас» с капюшном.

Я люблю все четыре поры года. Потому что ничего из этого гардероба у меня нет.

«ЗА» И «ПРОТИВ»

«Хорошо быть профессором! — рассуждал студент, разглядывая экзаменационные билеты на столе. — Ни тебе зубрежки, ни сессии, ни переэкзаменовок...»

«А ведь завидую я ему, студенту! — ловил себя на мысли профессор. — Ни изнурительного труда над докторской, ни кропотливых экспериментов, ни жизненных проблем...»

«...Встречи с интересными людьми, наврное, ежедневное. Симпозиумы, конференции, юбилеи. Отдыхай небось на лучших курортах...» — развивал свою мысль студент.

«А сколько нового для себя открываешь в этом возрасте! Первые увлечения и разочарования, спорт, турпоходы, костры и песни...» — вздыхал профессор.

«А с другой стороны, от знаний продохнуть некогда. На симпозиуме не так что-нибудь брякнешь — всю жизнь потом икаться будет...»

«...Конечно, нервотрепка в течение пяти лет перед каждой сессией, болезненный страх быть пойманым со шпаргалкой, вечные переэкзаменовки. Тут уж не до песен...»

«И здоровье уже того... На курортах небось из процедурных кабинетов носа не высывает...»

«А сколько глупостей случается именно в пору молодости! Всю жизнь потом жалею о них. Слава богу, это времечко у меня позади», — облегченно вздохнул профессор.

«Нет, ни за что не буду профессором», — решил студент и потянул билет.

Вопросы оказались совершенно неизвестными. Студент усмехнулся, профессор тоже. Каждый своим мыслям.

ПАРА МИНУТ

— Наконец-то! — возмущенно воскликнула моя жена. — Явился!

— Я только на пару минут, — пробормотал я, нехотя присаживаясь.

— На пару минут? — растерялась она. А мясо на фарш перекрутить, а вешалку в коридоре отремонтировать, а дверные петли смазать!.. Боже мой, когда это кончится? В последнее время тебя даже по телевизору не видно!

— Это ничего, что не видно, — возразил я. — Зато своей игрой я доставляю соперникам немало хлопот.

— Мне тоже, — воскликнула жена. — Ребенок твой вместо «папа» говорит «шайба»... Вот уйду от тебя к Халферову, будешь знать!

— К Халферову! — я даже поперхнулся. — Да он прессинга от дриблинга не отличает. (У него даже гантелей нет!)

— Он защищает диссертацию!

— А я ворота!..

Мы помолчали.

— Когда тебя ждать в следующий раз? — спросила жена.

— Не знаю, — признался я.

— Ты не думай... — заволновалась жена. — Мы тебя ждем. Вовка ждет своего «шайбу»!

— Шай-бу! Шай-бу!!! — мгновенно взорвались трибуны.

С полотенцем на шее я бросился на лед.

Владимир НЕХАЕВ

ДУРАК

(Современная сказка)

Жили-были в одной семье три брата. Двое умных, а третий дурак. Сядут за стол — двое едят нормально, а третий что поест, а что вокруг разбросает.

— Зачем насорил? — спросят у него братья.

— Это не сор, а художественный беспорядок, — отвечает дурак.

Двое, как волосы отрастут, стригаются, а третий парикмахера в глаза не видел. Оброс, как болонка комнатная, и рад-радешенек.

— Почему не стрижешься? — спрашивают братья.

— Так лучше, — отвечает дурак.

Двое одеваются, как люди, все в пору на них, в аккурат. А дурак натянет на себя такое, что сразу и не поймешь — одежда на нем или он в одежде. Надоело братьям смотреть на дурака.

Дали ему деньги.

— Купи, — говорят, — приличный костюм. А дурак заладил одно: мало да мало.

Дали еще.

— Мало, — твердит дурак.

— Сколько же надо? — спрашивают братья.

— Двести, — отвечает дурак, — и ни рубля меньше.

Пожалели дурачка братья, дали двести. Смотрят, явился. Брюки на нем — пошорканные, заплатками разукрашены.

— Что ты такое купил? — удивляются братья.

— Глупые, — отвечает дурак, — это же нынче самое что ни на есть... Джинсами называются.

Махнули братья рукой, отступились.

Пришла пора определяться в жизни. Один в институт, другой на производство пошел. А дурак в потертых штанах на тахте лежит да мух считает.

— И долго ты собираешься бездельничать? — спрашивают братья. — Пора бы уж тебе чем-то полезным заняться.

— Так лучше, — смеется дурак и в потолок поплевывает.

Терпят братья дурака и думают: авось поумнеет когда-нибудь. Как в сказке.

Ждут — не дождутся.

Договор

творческом содружестве коллектива строителей Алтайского коксохимического завода и редколлегии альманаха «Алтай»

Коллектив Алтайского коксохимического завода — всесоюзной ударной комсомольской стройки — в 1980 году, завершающем году десятой пятилетки, обязано закончить работы по пуску первой коксовой батареи. Задача важная, ответственная.

ОПЕЧАТКА*

Стр.	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
68	1	1	скот. Перед людьми возникает	селка и продолжают задира́ть скот. Перед людьми возникает

* «Алтай» № 3 за 1980 г.

Лауреаты премий удостоиваются звания «Почетный строитель Коксохима».

Редколлегия альманаха «Алтай» (орган краевой писательской организации) в свою очередь учреждает переходящий приз, который будет вручаться ежегодно лучшему управлению стройки.

Договор о творческом содружестве коллектива Коксохимстроя и редколлегии альманаха «Алтай», по нашему твердому убеждению, положит начало интересной, взаимопользительной и взаимообогащающей форме общения и дружбы строителей и писателей, позволит алтайским литераторам глубже проникнуть в жизнь современных рабочих коллективов, создать о них полнокровные, правдивые художественные произведения, тем самым вложив и свою лепту в строительство химического гиганта на Алтае.

Договор подписан руководителями
Алтайкоксохимстроя и редколлегией альманаха «Алтай».

40 коп.



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.akunb.ru